Издается
с 2003 года

**Зарегистрирован
Министерством
Российской Федерации
по делам печати,
телерадиовещания
и средств массовых
коммуникаций.
Свидетельство
о регистрации
ПИ № 77-17964
от 8 апреля 2004 г.**

Русский путь
на рубеже веков

*Литературно-художественный,
общественно-политический
и научно-популярный
журнал современных писателей
Центральной России*

№ 1 (10)/2006

Тираж бумажной версии 700 экземпляров.

**Учредитель и издатель:
общество с ограниченной ответственностью
«Редакция газеты «Губернские вести».**

**Журнал выходит в свет 4 раза в год
и поступает во все областные
и центральные районные библиотеки
9 регионов Центральной России —
Ярославской, Костромской, Ивановской,
Владимирской, Рязанской, Тульской, Брянской,
Смоленской и Тверской областей.**

**Адрес редакции: 150000, г. Ярославль,
ул. Революционная, 28, 1-й этаж.
Телефоны редакции:
(0852) 72-74-52 (гл. редактор), 25-99-60
(отдел подготовки рукописей, после 18.00).**

**Редакция не вступает в переписку
с читателями, не рецензирует
и не возвращает присланные рукописи.
При перепечатке ссылка
на «Русский путь на рубеже веков»
обязательна.**

© ООО «Редакция газеты
«Губернские вести», 2006.

Главный редактор

**Евгений ЧЕКАНОВ,
член Союза писателей России**

**Редакционная
коллегия:**

**Николай СМИРНОВ,
член Союза российских писателей;**

**Тамара ПИРОГОВА,
член Союза писателей России;**

**Альфред СИМОНОВ,
руководитель общественной приемной
полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Центральном Федеральном округе
(по Ярославской области);**

**Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО,
кандидат исторических наук.**

Ярославль

ПОЭЗИЯ

Валерий Мутин

Поклонясь пустырю

РУСЬ СВЯТАЯ

На ремонт разрушенного храма ,
Где в посты светало от свечей,
Молча наши бабушки и мамы
Вносят долю пенсии своей.

Милые российские старушки!
Ради вас пошел бы по дворам.
Все дадут, хотя бы по полушке —
И крестами воссияет храм.

Но давно убили в людях душу.
На колени встань — не подадут.
Не поможет хам, привыкший рушить,
Не пожертвует копейки плут.

На ремонт разрушенного храма,
Где в посты светало от свечей,
Только наши бабушки и мамы
Вносят слезы пенсии своей.

Валерий Васильевич Мутин родился в 1940 году в деревне Никукино Вологодской области. С шестнадцати лет работал на стройках Советского Союза – возводил Сталинградскую, Красноярскую, Кубанскую и Саяно-Шушенскую ГЭС, был монтажником стальных конструкций, бригадиром.

Стихи пишет со школьной скамьи, публиковался в газетах и коллективных сборниках. В 1990 году в Ярославле вышла в свет его первая книга стихотворений «Тополины е острова», в 2002 году – вторая книга «На круги своя». Постоянный автор нашего журнала.

Живет в поселке Пречистое Ярославской области.

© Валерий Мутин, 2006.

КУКОБОЙ

А. Бредникову

Только месяц всплывет над трубой —
По скрипучему санному следу
Я уеду в село Кукобой,
Как в забытую сказку уеду.

Там в бессонницу баба-Яга
Бает на ухо лешему речи,
И сама по себе кочерга
Пироги выгребает из печи.

Там в тревожный предутренний час,
Когда в мире особенно тихо,
В глубине неухоженных чащ
Своевольное ухает Лихо.

Там от холода выцвел осот
На болотах. И каждой весною
Широко разливается Соть —
В ней кикиморы волосы моют.

Там к сосне у замшелого пня
Притулилась Кощея сторожка.
Там сама Василиса меня
Угостила однажды морошкой...

ЧУЖИЕ СТЕНЫ

Вновь стою у дома, у калитки,
Где в тридцатых сумрачных годах
Обобрали пахаря до нитки
Дяденьки в зеленых картузах.

И, к тюрьме приговорив заочно,
Оторвав от плуга, от земли,
Под конвоем непроглядной ночью
Вместе с сыновьями увели.

А в хоромы, будто между прочим,
Поселили моего отца...
Здесь родился я. Но домом отчим
Дом чужой не стал мне до конца.

Не с того ли, в выцветшей накидке,
На сто верст исколесив тайгу,
Я стою у дома, у калитки —
И войти в калитку не могу?

БАРСКИЙ ДОМ

Дом стоял у дороги, как крик
О пощаде. Но не был услышан.
По весне здесь какой-то старик
Побывал. Говорят — из Парижа.

Очень странным он был, этот гость:
Поклонясь пустырю многократно,
Взял землицы оттаявшей горсть,
Сел в такси — и уехал обратно.

АРИСТОВО

Аристово, Аристово —
Желтые огни...
Аистами, аистами
Пролетают дни.

Родовая отчина!
Избы там и тут.
Окна заколочены —
Никого не ждут.

Ни души неделями.
Снег да снегири...
Что же мы наделали,
Родичи мои?

БАНЩИК

Не стало банщика Бориса —
Не устоял на тонком льду,
В реку забвенья провалился,
Хлебнув спиртного на беду.

Его ухода не заметил
Никто. Как будто и не жил!
И даже бывшие соседи
Не выпьют на помин души.

Лишь ветер, над могилой скушной
Промчась, всплакнул по мужику.
Да каменка в парилке душной
В тот час не выдала парку.

НА РЫБАЛКЕ

Еще не утро, и берег тих.
Лишь речка трется у ног моих.

Проснутся гуси, начнется клев...
И сразу станет не до стихов!

СПИННИНГИСТ

Зима скатилась под откос.
Весна пришла. Река проснулась.
Кричит рыбак, наморщив нос:
— Вот это щука бултыхнулась!

Летит в реку его блесна,
Дрожат поджилки от азарта...
Но есть пословица одна:
Хороший клев — вчера да завтра.

БЕРЕЗА

Словно жук, круша карьер отвесный,
Оглушая грохотом лесок,
Взмахивая пригоршней железной,
Экскаватор черпает песок.

А на самом краешке откоса,
Незнакомый слушая мотив,
Наклонилась белая береза,
Золотые пряди распустив.

А беда — она уж у порога...
Не шуметь ей, не встречать весну.
Упадет лесная недотрога,
Как руками, ветками всплеснув.

* * *

Лети, лети вперед, моя машина,
Навстречу дню, стрелой пронзая ночь!
Я уезжаю, так судьба решила,
От вас, рабы вещей и денег, прочь.

Туда, где души тонкого пошива,
Где воздух чист, где неба купол синь.
Лети, лети вперед, моя машина,
Лети, пока не кончится бензин!

* * *

Вольным птицам не страшны метели,
Их стихия — небо, не земля.
Вывели птенцов — и улетели
В теплые заморские края.

Ну, а мне — в холодном полумраке,
В северной угрюмой стороне,
В ветхом, продуваемом бараке
Печь топить. И думать о весне.

* * *

Я вижу дно сквозь тонкий лед,
Сквозь облака — звезду.
Пока живу — иду вперед,
Вслед за звездой иду.

Что ждет меня — печаль? беда?
Плевал я на беду!
Не упадет моя звезда
И я не упаду.

ОЖИВШАЯ СКАЗКА

Елене Соколовой

Птицей-сорокой известье
С легкой слетело руки:
Будто бы наше предместье —
Родина бабы-Яги.

Ступа нашлась и избушка,
И для полета — метла.
Стало быть, эта старушка
Век в Кукобое жила?

Сказка, блуждая по свету,
К нам забрела неспроста —
Канут без этого в Лету
Древние наши места.

Сгинут, безмолвны и жалки,
В сером тумане тоски
Омут речной без русалки,
Чаща без бабы-Яги.

Вырубят бор, где верхушки
Сосен уносятся ввысь...
Ну-ка, избушка, избушка,

Передом к нам повернись!

В ЗИМНЮЮ НОЧЬ

Где стынут, укрытые снегом,
Глухие медвежьи углы,
В морозное звездное небо
Стреляют деревьев стволы.

Чем крепче родимую землю
В снега пеленает мороз,
Тем громче стреляют деревья,
Тем больше над родиной звезд.

* * *

На сцене жизни лишь одна
Была мне роль отведена:
Чтоб быть услышанным — молчать
И в дверь открытую стучать.

* * *

Когда у друга юбилей,
Что подарить ему на память?
Тоску осеннюю полей?
Да нет, друзьям тоску не дарят.

А может, подарить коня?
Иль саблю из дамасской стали?
Увы, другие времена
Для наших рыцарей настали.

Надежду другу подарю!
Пусть будет в радости и в горе
Она, как парус кораблю
В житейском неспокойном море.

* * *

В моих стихах — ни пафоса, ни позы...
Но ты в огонь бросать их не спеши.
Они, как сердца раненого слезы,
Из потрясенной вырвались души!

ПРОЗА

Валентина Гусева

Бабье счастье

Рассказы

МАТЕРИНСКИЙ НАКАЗ

Капа чувствовала, что она умирает. Затянувшаяся болезнь отняла последние силы, да и осенняя слякотная погода за окошком не придавала тепла ее душе. Нынче вот улетели журавли. Она слышала, как поднялись они с ближнего болота и печально закурлыкали. Отдернула занавеску с окна, но промозглая и туманная мгла не позволила увидеть журавлиный клин, только гортанные крики вожака еще долго слышались и тревожили, тревожили, будто звали с собой.

Едва забрезжил рассвет, она увидела, как с березок, отяжелевших от дождя, стекает последняя позолота. Серое и безучастное небо исходило холодным дождем. Капа даже поежилась, хотя в доме было тепло. Леший рано истопил печку, закрыл трубу и забрался на печь, не боясь угара.

Отправляясь в школу, зашли попрощаться мальчики. Она каждого перекрестила и поцеловала, так она делала каждое утро, не зная уже, доживет ли до обеда. Наказала слушаться учительницу и отца. Потом смотрела, как бегут они по тропиночке через поле, как скрываются в перелеске.

«Что-то Галька не едет, давно ничего не слышно о ней, а ну как письмо пропало дорогой, надо бы телеграмму», — с отчаянием подумала она. Галька, старшая дочь, уже не первый год жила в городе, домой ездила редко, и Капа все эти годы жила с предчувствием беды. Что-то ей подсказывало, что не все у Гальки ладно, побыть бы вместе, сесть бы у печки, укрывшись одним одеялом, поплакать, поговорить, как раньше...

Валентина Павловна Гусева родилась в 1951 году в Вологодской области. В 1962 году переехала вместе с семьей в Пошехонский район Ярославской области, на родину матери. Окончила школу, затем Рыбинское дошкольное педагогическое училище; в 1978 году - филологический факультет Ярославского педагогического института. Работает учителем русского языка и литературы в сельской школе, сотрудничает с районной, областной и центральной прессой.

С 15 лет пишет стихи, публиковалась в местной периодике и коллективных сборниках. В 2004 году опубликовала в нашем журнале подборку стихотворений.

Живет в деревне Кладово Пошехонского района Ярославской области.

© Валентина Гусева, 2006.

Галька приехала к обеду. Слушая ее щебетание, Капа будто задремала, уносясь мыслями в свою собственную молодость, когда она, юная и тоненькая, будто березовая веточка, только-только окончила техникум и приехала сюда, на участок, встала на квартиру. Как-то, возвращаясь ночью из клуба, остановилась посреди поселка и замерла. Ночь звенела на разные голоса, откликалась на лай собак, на хруст снега под чьими -то торопливыми шагами; очерченная радужным кругом луна подмигивала многообещающе, и дорога змеилась легкой поземкой.

И вдруг среди этого заколдованного молчания она услышала слова:

— Стоишь? Ждешь кого? А не боишься?

Капа резко повернулась:

— А кого мне бояться? Уж не тебя ли?

— А хоть бы и меня. Что, стар, что ли, что бояться меня нечего?

— Да я не говорю, что стар.

— Вот и не говори, а то пожалеешь потом...

Ночной собеседник зашагал дальше, и только тут Капа догадалась, что это — лесник.

В деревне ему дали странное прозвище, Леший, впрочем — похож: лохматый, кряжистый, неразговорчивый. Она тогда сразу вспомнила, что он в последнее время часто забегал к ним в контору: подцепит из ведра ковшик холодной воды прямо с льдинками, хлобыснет залпом, оглядит всех исподлобья и, ни слова не говоря, уйдет. А еще был с ним случай: на охоте медведицу убил, ошкурил и посадил в снег, будто человека. Все бегали дивиться, и Капа тоже бегала. Чудной...

Но после этой тропиночки вьюжной, после этой радужной луны что -то переменилось в судьбе Капы. Будто до тех пор незрячее ее сердце вдруг прозрело, и застучало, и начало твердить: Леший, Леший...

Он был женат, двое детей, и Анна его опять ходила на сносях. Теперь Капа прислушивалась ко всему, что о нем говорили в поселке, а говорили разное. Одно она поняла: не ладится у него что-то с женой, раз то и дело уходит он ночевать к матери.

А потом, Капа как теперь помнила этот день, привезли в магазин ситцу. Она с трудом открыла тяжелую, уколоченную фанерками дверь магазина и сразу увидела его жену. Разрешившись от бремени, Анна похорошела на лицо, но осталась маленькой и толстенькой. «Ну и лепеха», — как-то вскользь подумала Капа и протиснулась между бабами, пристраиваясь в самый хвост очереди. От Анны, однако, не ускользнул ее насмешливый взгляд. Все, о чем она только догадывалась, коротая ночи в холодной одинокой постели, около детской колыбельки, вдруг стало для нее непреложной явью. Почти в бреду, выхватив у продавщицы нож, которым та кромсала глыбу маргарина, Анна ринулась в мешанину очереди. Завизжали бабы, тычась в углы, смерть расправила крылья и залетала по залу. И в этот миг Капа обеими руками схватилась за лезвие.

Сейчас, спустя столько лет, ей уже трудно было вспомнить, что почувствовала она, когда Анна дернула нож на себя. Вроде и больно не было, то лько ойкнули и прижались к стенам бабы, а она выскочила из магазина и, прижимая окровавленные руки к груди, помчалась к медичке. Та, подружка с детских лет, все поняла сразу и обещала хода делу не давать.

Тем же вечером Капа сидела на кровати, прямо в подшитых валенках — и, прижав к себе крепко-накрепко руки-куклы, безутешно плакала. За стеной гремела ухватами хозяйка, и Капе чудилось, что та ворчит и ругает именно ее. И тут раздался стук в окно, а затем голоса в коридоре, визгливый — хозяйкин, а другой низкий, охрипший — тот, который она не спутала бы ни с каким другим.

Он ввалился в ее комнату, холодный, раскрасневшийся, накинул на ее плечи пальтишко, укутал голову шалью и увлек за собой. Она не сопротивлялась и ни о чем не спрашивала.

За углом дома стояла запряженная лошадь. Он посадил ее рядом с собой на охапку сена и погнал, погнал в свою родную деревню, на позор и на прощение.

Через месяц, когда ее ладошки едва-едва покрылись розовой нежной кожицей, они сыграли свадьбу. Это было в деревне, на втором этаже его просторного дома. У нее свидетельницей была все та же фельдшерица, а у него свидетеля не было совсем, он шутил, что в этом деле сам Бог ему свидетель.

В разгар торжества она на миг вывернулась из кольца его рук и шмыгнула вниз, на первый этаж, чтобы остыть, опомниться от счастья, причесать растрепавшиеся волосы. И вдруг увидела на скамеечке под лестницей маленькую девочку лет четырех-пяти, в большом платке, повязанном вокруг шеи, в подшитых валенках — это была его дочь. Мелькнуло в голове: «Да как же это она добрела сюда через заснеженное поле, как ее волки не съели?» Девчушка поправила платок и поднялась навстречу:

— Тетенька, позовите папу.

Капа поперхнулась хлынувшим в горло холодным воздухом:

— Сейчас... Я сейчас... позову...

Она взбежала вверх по лестнице и, пока он ничего не заметил, подошла к матери и махнула только:

— Там...

Мать все поняла, засеменила вниз по лестнице. Потом вернулась, положила в передник сколько-то кусков пирога, карамелек, каких-то петушков, напеченных из теста, и опять поспешила вниз.

Свадьба еще долго пела и плясала, а у Капы все стояла и стояла перед глазами эта маленькая девочка в материнском, повязанном вокруг шеи, платке.

Уже тогда она поняла, что чуда не произойдет и что семейного счастья у нее не будет.

Нет, конечно, были у них и счастливые дни, и жаркие ночи, но только прогорело все очень быстро. Да и Господь посылал им одно испытание за другим.

Первая дочка умерла от воспаления легких, сгорела как свечечка. Капа, сидя на самом краешке больничной койки, долго отогревала своими губами пальцы ее остывающих рук, пока не подошел доктор и насильно не увел ее к себе. А потом Капа несла дочку домой, через лес, положив маленькое тельце в полотенце, перевязанное через плечо. Горькая ноша камнем давила на грудь. Сияло солнышко, кричали птицы, готовясь к отлету, а у нее перед глазами вилась та заснеженная тропинка под радужной луной, где она встретила все свои настоящие и грядущие несчастья.

Второго ребенка погубили глисты. Они пошли горлом и, как сказала ей бабка, задушили младенца. Капа верила и не верила в это, считая все, что происходит с ней, Божьей карой.

Третья девочка сгорела в лесу. Леший взял ее с собой за черникой, уставшую, посадил на моховую кочку, нарвал ей веток прямо с ягодами и развел костер от комаров, а сам начал собирать, удаляясь от огня. Когда услышал крик, побежал на голос и вдруг понял, что ушел слишком далеко.

Увидел катящийся навстречу ему клубок пламени и закричал:

— Падай, падай, катайся по земле!

Но обезумевший от боли ребенок не слышал его — и бежал, бежал, пока были силы. Почти безжизненное тельце принес Леший в деревню, к вечеру девочка умерла.

За одну ночь он превратился тогда в дряхлого старика. Колючий иней выбелил его голову, походка стала тяжелой, шаркающей. Он все реже уходил в лес и возвращался почти без добычи. Удача покинула его.

К следующей весне Капа родила опять девочку, ту самую Гальку, которая и положила конец их несчастьям. Но Леший, привыкший жить в ожидании беды, так и не оправился. Он все чаще забирался на печку и лежал там вниз лицом, бесполезно было тревожить его в эти минуты. Сверкнет глазами, полными ненависти, и укроется поплотнее полушубком, будто и летом ему было холодно.

Капа же продолжала рожать ему детей — теперь уже мальчишек. Она не успевала поправляться и, со временем, совсем высохла, стала сама себе напоминать драную кошку

с беззубым ртом. Она начала всего бояться: и глядеться в зеркало, и видеть свое отражение в глазах Лешего. Главное: она боялась, что не сумеет поднять детей. Душа ее еще сопротивлялась наступающей болезни, она твердила себе: «Не сдавайся! Живи!» Но плоть все чаще отзывалась нестерпимой болью.

Она перестала вставать и ничего уже от жизни не ждала. Только вот Гальку, чтобы оставить ей свой материнский наказ: никогда не любить женатого и не отнимать у детей отца.

Но сказать это Капа так и не успела, умерла к утру, не приходя в сознание.

На похороны приехал Галькин хахаль. Глядя, как он увивается вокруг молодой и здоровой Гальки, Леший спросил напрямки:

— У тебя своя-то семья есть?

Но, увидев, как воровато забегали глаза хахаля, обреченно махнул рукой.

ОТГУЛ

Новый год люди встречают по-разному. Катерина с бабами решили посидеть прямо после вечерней дойки. Знамо дело, не до рассвета, как иная неработь: назавтра-то ведь, праздник не праздник, все равно на работу надо идти...

За праздничной атмосферой особо не гнались — обмели паутину по углам, шаркнули туда-сюда голиком, чтобы солома не путалась под ногами, поставили посреди «красного уголка» большой и высокий, как гора, стол. Притащили из дом у капусточки, которую, как известно, на любой стол подать не стыдно, а и съедят — так не больно жалко, огурчиков хрустящих — это уж обязательно, какая же закуска без огурца. Люська красиво, совсем по-городскому, полтазика салата накромсала. Ну, и хлеба нарезали вдоволь, большими увесистыми ломтями: не какая-то там вшивая интеллигенция гулять собралась — рабочий люд, волчий аппетит.

Не поскупились и на самогоночку. Взяли так, чтобы хватило, чтобы еще раз Ваську Зверева к Варсанихе не гонять. Хотя, он бы и сбегал — мужик молодой еще, не гордый.

Единственный, можно сказать, этот Васька кавалер на всю ферму. Есть еще, правда, Толя-молокоприемщик, но тот не в счет, у него жена строгая, да и закодированный он. Какой уж из него мужик, если живет, будто на крючке висит, и все оторваться боится.

Вот Васька — другое дело, этот свое отбоялся. В молодую свою пору считался завидным женихом, один сын у матери, она сама его и в клуб собирала-наряжала, и невест сама выбирала — и эта не та, и такую не надо. Выбирала-выбирала, да и промахнулась: уехал сыночек в город и такую себе стерву там нашел, что врагу не пожелаешь.

В деревню городская жена не ездила, считала, видно, для себя за низкое, а может, ленилась. Ездил всегда сам Васька, аккурат перед маткиной пенсией. Нагружался, что старуха в рюкзак положит, и чесал обратно, на пароход. А потом, как началась перестройка и совсем там что-то у него нарушилось, стал заявляться на целый сезон — грибы-ягоды собирал, рыбу ловил, картошку копал. А с последним пароходом убывал на зимние квартиры.

Потом опять зима проходила, и опять он, как шутили в деревне, вытаивал. Оттого и прозвище ему дали: Васька-подснежник. Сколько бы так продолжалось, никто не знает, да подкараулила Ваську беда — выгнала его городская. Насовсем.

Не перенесла мать неудавшейся сыновней судьбы, а пуще — деревенского сраму, слегла и не поднялась больше. А сын остался хозяином большого пятистенного дома. Первое время продавал нажитые матерью нехитрые вещички, просил недорого — и покупали их охотно. В доме у Васьки всегда было весело. Шампанское рекой не лилось, конечно — лилось, что попроще, но друзей у него было в ту пору много, иногда всю ночь огонь в доме не гас.

В одну из таких ночей и полыхнуло. Сухая выстоявшаяся изба горела не больше трех часов. Приехавшие пожарные еще и воды добыть не успели, а крыша уже с треском рухнула, взметнув в черное небо фонтаны искр.

На другой день сидел Васька Зверев у дымящихся головешек и скулил, размазывая по щекам сажу пополам со слезами. Вот в это-то время и проходила мимо Катерина. Взяла непутевого за рукав драной фуфайки, подняла, отряхнула от снега шапку, глубоко натянула ее на круглую голову, прихлопнула — и повела, как ребенка малого, к председателю.

Васька смирно сидел в коридоре и ждал решения своей участи. Выйдя от председателя, Катерина сказала, как отрезала:

— Сторожем на ферму к нам пойдешь. Там не пропадешь — у котла тепло, молоко и посыпка вволю.

Так и стал Васька-подснежник первым парнем на ферме. Вел он себя прилично, старался угодить бабам, и они его в беде не оставляли — и обстирывали, и подкармливали, и упасть духом не давали. Вот и этот Новый год встречать пригласили вместе с собой, только приказали накануне в баню сходить. А одеть кавалера у них было во что: столько передевки со своих мужиков натащили — носи не хочу!

До рассвета там, не до рассвета, но гуляли они в этот раз и впрямь долго. Кто-то уже и спал, устроившись на куче старых мешков, кто-то дремал, облокотившись на стол и подперев голову руками, а кто-то все продолжал праздновать в одиночку: сам играю, сам пляшу. Потом одна из баб просыпалась, и все начиналось сначала — и вино, и песни. Визгливые женские голоса будоражили коров, и те иногда подпевали, мыча густо и протяжно.

Каждую из баб дома кто-то ждал, только одна Катерина никуда не торопилась. Она давно жила одна, потому как со своим благоверным разошлась несколько лет назад на почве беспробудного его пьянства и рукоприкладства. Терпела, правда, долго — но однажды не вынесла обиды гордая ее душа и, взяв попавшийся под руку топор, показала муженьку Катька, что не шутит. Вытурила на жительство к матери, хотя дочкам еще долго писала, что у них с батькой все тишь да гладь. Лишь когда однажды нежданно нагрянула старшенькая и увидела седую прядь в материнских смоляных волосах, все и открылось. А открывшись, получило полное одобрение.

Новогоднее веселье шло на убыль, но Катька тешила баб, не понукала, хотя, по уговору, ей предстояло нынче закрыть «красный уголок» и проверить ферму. Но вот уж и закадычная Катюшкина подружка, порядочно уже наклюкавшаяся Люська решила отвалиться на покой, к супругу под бочок. Обмуслякав товарку на прощанье накрашенными губами, она исчезла за дверью. Оставались еще две бабенки, — сейчас они пели неслаженными голосами «Рябину», — но Катерина решила не ждать, а глянуть прямо сейчас, все ли в порядке.

Проверять увязался и Васька, как никак, сторож, хоть и не больно хорошо держался уже на ногах. Когда дошли до дальнего тамбура, он вдруг обеими руками ухватил Катерину. Решив, что он падает, она поддержала его — и в это время Васька впился ртом в ее губы.

Оттолкнуть его было проще простого, но она не сделала этого. Она ослабела вся разом, предательская теплота разлилась по телу, бешено застучало сердце. И если бы Васька тут же не рухнул в ближайшие ясли, они бы рухнули, на верное, вместе.

Оставив ухажера в яслях, она вернулась к бабам, взбаламутила их и приказала выметаться. Обиженно повизжав, те разбрелись по домам, а следом за ними побрела и Катерина. В сердце ее бушевала настоящая буря — она опять почувствовала себя женщиной, но разделить это чувство ей было не с кем.

Посреди комнаты возвышалась железная печка-времянка, трубаки тянулись под самым потолком — затопи, и через полчаса в доме станет, как в бане. Но ей не хотелось этого

делать: кинув на лежанку подушку, она пристроилась к теплому боку печки и, обняв руками колени, утонула в своих мыслях.

За окном плавала, что твой блин в масле, полная луна. Катерина глядела на нее и думала о том, что хорошо было бы не просто привести Ваську в дом, а расписаться в сельсовете, чтобы было все по-людски, чтобы сам председатель с красной лентой поперек груди объявил их мужем и женой. Колец теперь уж, конечно, не осилить, где ж взять такие деньжищи, но сойдет и без колец...чего уж там.

Он вспомнила о том, как сошлась с бывшим мужем — и помрачнела. Все там с самого начала было как-то не по-людски. Свекровь не любила Катьку и свадьбу делать не стала, просто будущий муж погрузил свои вещички на трактор да и переехал в Катеринину избу. Как непутно пришел, так непутно и ушел.

Катерина знала, что у них с Васькой все будет по-другому. «Хорошо бы на свадьбу и паразита того позвать, — думала она. — Пусть полюбуется на настоящее бабье счастье!». Потом, поразмыслив, решила, что делать этого не надо. И люди осудят, да и сам он, нажравшись, все окошки перехлещет. А то и голову ей оторвет — он ведь злющий, как шибко перепьет. Что перепьет, в этом она ни капли не сомневалась.

Перебирая всех возможных гостей, Катька дошла до председателя. И подумала, что председателя надо звать обязательно — это придаст свадьбе вес в глазах деревни, да и Ваське, может быть, удастся охлопотать другую работенку. Все ж-таки женатому мужику ходить в сторожах и угождать чужим бабам как-то не с руки.

«Да только, поди, не пойдет председатель-то, побрезгует, — сомневалась она, лениво потягиваясь на лежанке, как большая кошка. — Чего, скажет, я пойду к какому-то сторожу...»

И сама не заметила, как уснула.

Утром она вспомнила все вчерашнее — и лицо ее озарилось радостью. Первым делом она позвонила бригадирке и попросила отгул. Та, против обыкновения, не стала возражать, говорить, что в праздник никого трезвого во всей деревне не найдешь и что заменить ее, Катерину, некем. Бригадирка хорошо знала, что Катька держится за каждый рабочий день, а в праздничный, с двойной оплатой, тем более дома просто так сидеть не будет — значит, что-то важное случилось. Слава Богу, что еще не начала расспрашивать и выведывать, а то, чего доброго, рассиропившаяся от ночных мечтаний Катька рассказала бы ей раньше времени и про Ваську, и про поцелуй, и про свадьбу...

Она достала из шифоньера не надевавшуюся года три, пропахшую нафталином шубу, шаль с кистями, вынула из дальнего угла сапоги, которые ей когда-то еще муж привез из города, ни у кого не было, а у нее были, ему, как передовику производства, впридачу к ордену дали. Орден они тогда спрятали в шкаф да и забыли про него, а вот сапоги, поди ж ты, дождались своего часа.

Прихорашиваясь перед зеркалом, Катька вспомнила, что у нее нет ни грамма помады. Те тюбики, что были у нее в девичестве, муж как-то в припадке ревности выбросил в уборную, а других купить она так и не удосужилась, махнула рукой, мол, и так сойдет. Так без помады и жизнь прожила...или еще не прожила?

Уже стоя на автобусной остановке, подумала, что Васька тоже, пожалуй, будет ее ревновать...вот только к кому? Не к Тольке же-молокоприемщику! Хотя мужики — такой народец, что будут и к телеграфному столбу ревновать, особенно спьяну...

В город приехала рано. Золовка, не приученная вставать чуть свет, еще спала, когда она позвонила в дверь квартиры. Пританцовывая босыми пятками на холодном полу, она долго охала и ахала, возясь с замком. Но Катька не испытывала неловкости — ведь она приехала по серьезному делу, на совет.

Золовка была большой специалисткой в сердечных делах, меняла ухажеров как перчатки, но Катерина все никак не могла открыться ей: они уж и чаю три раза попили, и косточки перемыли всем деревенским, а о цели своего визита Катька молчала. Золовка недоуменно поглядывала на гостью: мол, ненормальная что ли, приперлась в такую рань,

по такому морозу — зачем? Родственных чувств между ними давно уже не наблюдалось, значит — приехала по делу. Но по какому?

Когда до автобуса оставалось каких-то полчаса, Катерина все таки решилась. Выслушав ее сбивчивый рассказ, золовка сказала, что все мужики, конечно, сволочи, и верить им нельзя, но уж коль пронзил все тело электрический ток и свербит в самой-рассамой серединке, значит, — это любовь. И тут же побежала доставать и показывать свое новое платье, в котором приедет на Катькину свадьбу.

В окне автобуса плясало огромное овальное солнце, на заднем сиденье жеманились девчонки из техникума, но Катька, не замечая взглядов юных насмешниц, вовсю улыбалась своим новым, незнакомым мыслям. Выскользнув из автобуса, по скрипучему снегу застрочила домой, чтобы никого не видеть, не слышать и, не дай Бог, не расплескать привалившее счастье. Она готовила свое сердце к завтрашней встречей с Васькой.

Весь вечер кружила по комнате, натирая и так блестевшую до невозможности полировку, перемыла посуду, любовно расставила ее по шкафам, застелила постель новым чистым бельем — восьмимартовским подарком младшей дочери. Потом до поздней ночи крутила мясо и жарила котлеты, понимала, что завтра в ее дом войдет мужчина, а мужчину надо кормить.

Ближе к ночи у нее разболелась голова, она кое-как приспособилась и сама себе измерила давление. Ужаснувшись про себя, приняла таблетку.

Сон не шел. За окном бесновались собаки, будто вдоль улицы шел конвой и вел какого-то обреченного. Катьке даже послышалось, как позвякивают кандалы. Звук долго не унимался, мешал уснуть, пока она не поняла, что это стучит об щеколду забытый ею замок. Она вышла на улицу, глянула на дорогу, по которой змеилась поземка — и раздраженно подумала, что завтра на ферму будет не выползти. Заныли руки. Она знала, что так всегда бывает к перемене погоды, но болело очень сильно — словно волки грызли все суставы — и она достала из шкафа бутылочку настойки. Долго растирала себя, пока не почувствовала, что слезы, переполнившие глазницы, выплеснувшись теплыми ручейками, бегут по щекам.

В короткие минуты забытья ей снилось, будто муж бегает за ней с коромыслом и старается загнать в прорубь. Из проруби скалился Васька и манил ее к себе посиневшими пальцами, она рвала из рук мужа коромысло, а тот не давался — и все замахивался и замахивался на нее согнутым, пружинистым куском дерева.

Утром она еле встала. Плеснула нехотя в лицо пригоршню согревшейся за ночь воды и стала собираться на работу. Уже повязав платок, кинула взгляд на сковороду с котлетами. «Может, надумаем опохмелиться», — подумала про себя, ловя сознанием ускользающую мысль, что это — для Васьки. Нашла газету и завернула в нее пяток котлет.

Ваську она увидела еще издали — застала как раз тот момент, когда Люська огрела того вилами. Вытянула аккурат вдоль спины — и довольно вскрикнула, не замечая подходящей подруги:

— Ишь, кобель окаянный, чего удумал! Иди вон Катьку целуй! У меня, чай, муж законный имеется!

Но было видно, что на самом деле она совсем не рассержена.

Увидев Катерину, Люська осеклась и начала сердито швырять вилами силос.

Катерина подошла к Ваське, тот глянул на нее мельком — во взгляде его не было даже намека на позавчерашнее — и, залихватски сдвинув шапку на затылок, бросил:

— Где гуляла-то цельный день? Похмелялась, что ли? Лучше бы на ферму зашла — у нас тута весело!..

Она помолчала минуту. Потом протянула ему сверток. Он недоумевающе глянул, развернул — и тут же радостно откусил половину котлеты. Хотел что-то сказать, но она его опередила.

— Эх, ты!.. Был ты подснежником, подснежником и умрешь. Пусти-ка!..

Двинув его плечом, она прошла к своей группе.

Дожевывая котлету, сторож молочно-товарной фермы Василий Зверев хлопал глазами, ничего не понимая.

ПЕРЕД ПРОЩАНИЕМ

— Ты чего улыбаешься?

— Да так, вспомнилось вот...Ты посиди со мной, посиди, пока народ не начал шастать, скоро заснуют, не дадут тебе с отцом чередом и проститься. Посиди...

— Мам, расскажи мне, как вы встретились.

— Да что там встретились — прилип он ко мне. Как увидел, так и прилип. Меня, как льноводку-стахановку, в Москву послали, я там часы себе купила, отрез крепдешина на платье. Водили нас там везде... Вот, однажды и встретились. Высокий он был, статный, только одет плохо — в солдатское, да и то в старое какое-то, замызганное...сразу видать, что бабского ухода нету. Ну, и мне интересно — после войны в деревне какие женихи, одни ошметки. А этот прилип: возьми да возьми с собой в дере вню. Я и пошутила: «Да поедем!» Сама про себя смеюсь: «Куда он поедет, неужто Москву свою на нашу глухомань променяет!» А он поехал. Правда, нас-то в городе райкомовская машина встретила, по домам повезла, а он пошлепал пешком. Автобусов-то тогда в помине не было, да и асфальт пожиже был.

Вот, в спортсменочках своих на босу ногу нашагался досыта, устал, отчаялся совсем. А тут мама моя на ключ за водой пошла. Он и вылезает ей навстречу из кустов — весь грязный, в репьях. Но все равно шутит, без этого не жил:

— Где тут, бабушка, метро будет?

Маме-то палец в рот тоже не клади:

— А ты иди-иди прямо, там тебе и метро, и трамваи будут.

Пошел...сначала прямо, а потом в избу завернул. Набрала мама воды, вернулась домой, а зять-то уже за столом сидит. Ну, родители мои были люди неглупые, мигом барана зарезали — да и за свадебку. Подошла суббота, маменька велит мне мужа в баню вести. А я боюсь — прям ужас! Убежала вперед его, воды ему навела и в предбанник выскочила. А он хитрый был: зашел, разделся, кричит: «Анна, где вода?» «На лавочке» — отвечаю. «Да тут и лавочек-то нет!» Пришлось раздеться да идти к нему... этакий хитрец был, однако. А когда белье ему в баню собирала — замучилась, чего и положить: у суженого моего — одни кальсоны, да и те в дырьях, вот тебе и горожанин. И положила я ему свои голубые рейтузы, новые, с резиночками внизу. Одел — и глазом не моргнул. А на другой день пошли всей бригадой на сенокос. Упарились, в перекур решили искупаться. Мужики ушли отдельно от баб, разделись и поплыли нагишом. А мой — нет. Снял брюки — и ну по берегу в голубых рейтузах расхаживать. Бабы хохочут-умирают, а ему хоть бы хны — такой шутник был.

Выпивал по праздникам, не без этого. Но работу не прогуливал, ни-ни. Бывало, уйдем в гости с ночевкой, так утром всегда вперед меня соскочит, бежит домой скотину обряжать. Один только раз перебрал порядочно: с собрания, из города вернулся — сгрузили его у порога и оставили, а я поднять не могу, тяжел был. Рассердилась, ушла в пятистенок, а ты маленькая была — манишь его:

— Ползи-ползи, пока она не видит!

Бога гневить не буду — не обижал меня никогда, берег. Как-то из гостей ночью возвращались: темнота, холодина, на Октябрьскую как раз было. Мостик узенький, обледенел — страх меня обуял, боюсь и ступить. Хоть обратно иди! А нельзя, дома ты маленькая с бабкой была. Веришь ли — на колени встал, да и пополз, а я следом, за него держусь. Так и перебрались, только лад ошки у него потом долго кровоточили.

Шутник был твой батька — белый свет таких не видывал! Бывало, придет на обед, поест, уйдет на крылечко обуваться — и кричит оттуда:

— Матка, когда есть будем?

Рассержусь на него:

— Да только что ел!

— Али ел?

А сам хохочет, заливается. Так, с шутками-прибаутками, и хвори все свои одолевал. Когда глаза-то заболели у него, один совсем видеть перестал, я переживала сильно, убивалась — а он никакого вида не показывал. Возьмут с Борей-слепым гармошку, сядут на лавочку и поют: «Поглядите-ко на нас, на обоих один глаз...»

Однажды уж такой-то больной в город уехал. Зима на улице — кружит, пуржит, в поле ничего не видать, хоть глаз выколи. Я всю ночь у окошка просидела, глаз не сомкнула. Под утро стучат в калитку. Открыла, стоит человек не человек — снежный сугроб. И так тоненько спрашивает:

— Тетенька, это какая деревня?

Так и до сей поры не знаю — опять шутил надо мной, или в самом деле заблудился, устал до умопомрачения.

В тот-то раз он мне из города сорочку шелковую привез. Я руками замахала:

— Совсем рехнулся, старый! Что я тебе — шлюха какая-нибудь? Да и не под годы мне. Отроду такого сраму не нашивала.

А он уговаривать: одень да одень. Я и одела в той половине, а свет ему включать не велю. Он подошел ко мне в темноте и гладит, гладит, будто я девка. Скинула я эту сорочку, в комод спрятала, на самое дно. Умру, так найдешь там, себе возьми — ты-то, поди, такие носишь, обнаглели вы нынче совсем...

А ему-то я за эту сорочку отплатила, тем же и отплатила. Поехал как-то в город, к золовке, помогать крылечко делать. Знамо дело, угостили там, а питок-то он в старости был уж никудышный, вина нёс с гулькин нос. Опьянел, привезли его в мотоцикле с люлькой еле живого, положили на кровать, раздели и уехали. А я той порой думаю: вот и мой черед наступил посмеяться. Стащила с него тренировки-то вместе с трусами, да свои натянула, безразмерные. Он проснулся, пришел в себя, зовет меня:

— Анна, чего это на мне?

— Не знаю, дедушко, не знаю — из города такой приехал...где уж ты и был...

А сама вот смеюсь, не могу удержаться. Он обнял меня, посадил на кровать и печально так спрашивает:

— Матка, как хоть ты живешь-то?

Растерялась я. «Хорошо, — говорю, — живу, чего мне не жить-то с тобой».

А теперь вот всё думаю — не это он хотел узнать у меня. Хотел спросить, как я без него-то жить буду. А разве ж я знаю! Мыкаться, поди, буду...да ты-то чего ревишь, дурочка ты моя? Не надо, не надо, всё к тому шло, что уж теперь. Да и не оставит он меня одну! Увидишь — скоро явится. Он у меня ходовый — вот охлопочет там местечко, да и явится. Не задолит.

ПОБЕДА — ДЕНЬ ОСОБЫЙ

Бабка Наталья колхозной бани не признает — считает, что от нее все болезни. И то правда: пока идешь — охолонешь, а там уж обязательно какая-нибудь зараза привяжется. То ли дело печка! Не нами сказано: семь докторов заменяет, и лечит, и тешит, и от всяких хворей оберегает. Вот потому-то, как ни зазывают бабку соседи хоть раз в год, на Светлое Христово Воскресение, сходить с ними, сажу отмыть — так ничего и не добились до сей поры.

Кроме мытья в печке, есть у бабки в избе еще два удовольствия.

Первое — это графинчик с наливочкой. Хранит она его за божницей и очень любить хлебнуть из него рюмочку-другую, «для аппетита». Ну, и гостю всегда нальет, не жадничает. А уж после третьей начинается у нее второе удовольствие, самое главное —

рассказы про жизнь. Всё больше про свою собственную рассказывает, но иногда и чужой краешек прихватит. И всё интересно, потому что всё — правда. А что ей таиться!.. жизнь-то уж прошла.

Сегодня она, кряхтя и охая, говорит мне:

— Помру я нынче. Да и пора уж мне, загостилась. Все подружки мои давно прибрались, а я уж и не знаю, чем Господа прогневала.

— Да живи ты, — возражаю я. — Чего тебе? На своих ногах...у тебя, поди-ко, и карточки-то еще в больнице нет?

— Нету, откуда ей быть-то? Только всё равно помру. Разве вот до Победы дожить, отметить еще раз светлый праздничек...

Она запихивает в устье печи сноп ржаной соломы и, разостлав по теплым кирпичам натуральную подстилку, покрывает ее сверху другой — тоже натуральной, из чистого льна. Синтетику бабка Наталья на дух не прини мает.

Раздевшись, она забирается в печку и просит прикрыть ее заслонкой. Парится долго, основательно, мне слышно, как шумит березовый веничек.

Вылезает свежая, румяная, будто десяток лет в печке оставила. По окончании положенной после пару процедуры омовения, усаживается за стол, зовет меня. На столе — грибочки, капустка, варенье и заветный графинчик. Тут же и разговор завязывается.

— А зачем тебе Победа-то? Разве церковных праздников мало?

— Победа — день особый. В этот день я к памятнику хожу, каяться.

— Каяться? Да ведь это ж не церковь...

— Да, не церква. Да ведь и грех-то мой — особенный: вроде как нет его, а вроде и есть. И никто мне его не отпустит, знаю — а вот схожу, покаюсь, и легче мне, опять ж иву до другой весны.

— Ты меня прости, конечно...может, чего и не знаю. Я-то всегда думала, что ты — святая: вдова, всю жизнь одна прожила, на работе ломила, деток растила...

— Всё правду ты говоришь: и вдова, и ребятишек подымала, пристроены ноне не хуже других. И меня не забывают, ездят, помогают. И работала я всегда за двоих — и за себя, за бабу, и за мужика. И лесу поломала, и пашни попахала, и за скотиной походила, всё было... Да только не всё ты знаешь.

...Мужиком я обзавелась перед самой войной. Привез он меня из Первомайского района, дочку родила. Мужа любила. Когда повестку принесли — как шальная, по дому ходила, каркала: «Убьют тебя, все равно убьют. А я без тебя жить не буду, так и знай, я веревочку припасу, ты там знай, если что!» Ну, он понял, ч то я не в своем уме это говорю, пропустил мимо ушей. А я-то убиваюсь! Еле в чувство привел. Когда уходил, все девки парней до города провожали, а я за телегой идти не могла, ноги не шли. Он меня и не взял. Да и дочка была маленькая, кормить надо было.

Убили его в первый же год. Как я это пережила, один Бог знает, да еще свекровь. Бывало, проснусь утром — и говорю ей:

— Опять ко мне сегодня Петруха приходил. Говорит: подвинься, Наташа, я с краешку полежу. А сам холодный.

Свекровь всполошится:

— Это лукавый к тебе ходит! Погубит он твою душу, надо чего-то делать, надо к космачке бежать.

Сбегала за лес, снесла сметаны да корзинку яиц, принесла заговор. И как рукой сняло: перестала я по Петрухе тосковать.

Да только естество-то все равно покоя не давало. Баба я была молодая, крепкая. Как жить?

А после войны много в нашей деревне пришлого народу появилось: кто на сплавы работать приехал, а кто из МТС — землю пахать...да ты чего не пьешь-то? Эта наливочка целебная, по себе знаю, ты пей. Вот, и к нам на квартиру, зна чит, определили постояльца. Запахло в доме мужиком. А я столько лет ждала этого, что уж шибко устала. Шепнул он

мне, что ждет вечером за огородами — и просто ошалела я. Вылезла к нему через сеновал, в окошко — и полетела навстречу.

Свекровушка на другое же утро всё поняла — пепел от его цигарки на ступеньках увидела. Но не осудила меня, а стала помогать — покрепче, говорит, его захомутай. И сама суетится: лучший кусок мяса — ему, к обеду и ужину — обязательно рюмочку. Только не помогло всё это. Бывало, обряжаюсь у печки, выгляну в горницу — а он сидит за столом, руки на голову положил. Тоскует. Уедет, думаю, все равно уедет.

Гуляли мы, помню, Николин день, я и запела: «Мужчины вы, мужчины, коварные сердца...» А он вышел из-за стола — и на улицу. Я за ним. Смотрю, забежал к себе в дом, схватил котомочку — видно, зараньше приготовлена была — и айда. А я и догонять не побежала, тяжело было догонять, под сердцем-то уж сынок шевелился. Он, правда, о том не знал... да и не узнал никогда. Ну, давай уж и по третьей , о трех углах изба не стоит.

Вот живу с той поры — и не знаю: грешница я, али нет? Что я Петрухе-то скажу, когда на том свете встретимся? А может, и не узнает он меня... он-то ведь там будет вон какой молодой, а я совсем старуха...как думаешь?

СРОК ПРИДЕТ — И ОТПУЩУ

Чернику-то мы все любим, а Галина ее просто обожала. И впрямь, всем хороша ягода — что варенье сварить, что на пироги зимой положить, сушеную. И так просто пожевать — очень даже полезно. Особенно для глаз, говорят, хорошо — один дед у нас даже трепался как-то на завалинке, что ягоду эту в войну летчикам давали, для остроты зрения. Я, правда, не больно в это верю: сам-то он в войну, поди-ка, из-под пушек гонял лягушек, а по телевизору чего не скажут...

Вот как-то под самую Казанскую поспела черника в лесу — и много: осыпано! Народ потащил и бидонами, и корзинками, а кто и ведрами. Продавали сначала по пятнадцать рублей за литр, а как все поднабрались, цена упала: десятилитровое ведро по сотне отдавали. У Галины-то пенсия была невеликая, со всеми хваленными добавками и до тыщи не дотягивала, но все же черники себе купить могла она позволить. Могла, да не захотела! Целую неделю вострила лыжи в лес, только всё дела ей разные мешали, никогда их в деревне не переделаешь.

«Вот будет Казанская — и пойду, — думает себе. — Дома-то на Казанскую все равно ничего нельзя делать, грех — а в лесу теперь вольготно. И отдохну, и ягод дармовых наколупаю».

Наступила Казанская, глядит она в окно: соседка куда-то с утра собралась — да еще и разодетая, в платке с блестками, в новой жакетке... это по жаре-то! А на ногах боты меховые, ногам-то в них уж больно легко. Всё это она заметила, но значения особого не придала, потому как в лес торопилась. Проверила, всё ли в доме выключила, зерна курицам кинула, чтоб не озоровали, к соседке в огород не летали — и отправилась. Еще по росе поле пересекла, спустилась к приболотью, шоссейка позади у нее осталась. Приметила, что солнышко ей в правый висок бьет, так всегда примечают, чтоб с пути не сбиться, легко выходить будет.

Зашла в чащу, долго лезла через ельник-сухостой — где и взялся, не бывало никогда. Еле выбралась на чистое место, да такое чистое — будто подмел кто. Слышит откуда-то сверху голос: «Иди за мной». Обмякла вся сразу — и пошла. Идет-идет, сама не знает, куда, только иногда видит впереди себя какую-то женщину в черном, а рядом с той женщиной вроде как девочка-подросток идет.

Дошли до какой-то избушки и стали в ней жить. Вернее, жить стала одна Галина, а женщина эта с девочкой — вроде как они и тут, а вроде и нету их. Пало Галине на сердце, что это хозяйка леса с дочкой — и покорилась она своей судьбе. Живет в избушке, ягоды

ест, грибы себе варит... только вот никогда она ни голода не испытывала, ни сытости: поест — а вроде и не ела.

В деревне ее только к вечеру хватились. Соседка из церкви вернулась, смотрит — а куры-то Галинины в ее огород забрались и все огурцы поклевали. Пошла Галине разгон давать, а той нету: ну, не иначе, в лес ушла, не зря по чернике -то скучала.

Подняли деревню, искали три дня. Милиция из города приехала, в воздух стреляли, да только всё напрасно. Так и отступились, решили, что сгинула в болоте. Но соседка Галинина в ее смерть не верила — и всё карты раскидывала. И всё время у нее выходило, что жива Галина, и что привезет ее в деревню какой -то пиковый валет.

А Галина-то так в избушке и живет. Ни горя не чувствует, ни радости, не то, чтобы уж ей там очень хорошо — но и не плохо. Времени совсем не замечает. Только однажды слышит разговор:

— Почему ты ее не отпускаешь? — это вроде как та самая девочка говорит.

— Придет срок — и отпущу.

Опять живет в избушке — и вот однажды начинается гроза. Гром урчит -урчит в небе — да как грянет! Испугалась Галина, перекрестилась — и вдруг видит себя на обочине шоссейки. Ноги у нее подкосились, села на теплый асфальт и плачет. А над головой знакомый голос слышит:

— В Казанскуюто надо в церковь ходить, а не в лес...

А мимо нее машины бегут, мчатся. Вдруг одна тормозит, выходит из нее парень темноволосый, подходит к ней и говорит:

— Притомилась, что ли? Давай, подвезу.

Галина только головой смогла покивать.

Подвез он ее к самому дому, вышел, дверцу у машины открыл...Соседка глянула, и чуть с лавочки не свалилась: парень -то — вылитый пиковый валет!

Бросилась она с расспросами к Галине, а та только рукой махнула и в избу к себе пошла...

На другой день у хлебной машины бабы Галину стали теребить:

— Ведь мы тебе кричали, стреляли — неужели не слышала?

— Слышала.

— Так почему ж не шлато?

— Она меня не отпускала. Говорит: «Срок придет — и отпущу».

Кто — ахать, кто — пальцем у виска крутить, кто шутить:

— Галина, скоро ведь Спас — так не сходить ли тебе за грибочками?

Ну, а кто-то и поверил. Галина-то сама, чтоб не задразнили ее, всё больше отшучивалась. Постепенно уж и сама перестала понимать, вправду всё это с ней было, или приснилось...

Историю эту я от людей слышала, которые сами Галину эту знали. Говорили, будто случилось всё это в нашей области, в одном селе, этим летом. Я только имя этой женщине изменила, а все остальное — чистая правда.

ВАСИЛИСКА

Василиска, большая рыжая кошка, родилась в хлеве, прямо в яслях пустовавшей стайки, вдали от хозяйских глаз, а то и не жить бы ей изначально. Но она выжила.

Когда, выбравшись самостоятельно из яслей, она начала путаться у хозяйки под ногами, та, конечно, не обрадовалась непрошеной квартирантке, но и не разгневалась сильно; вскоре даже стала наклоняться и гладить пушистую спинку котенка, наливать в миску теплого и душистого молока. В дом, однако, не приглашала.

Василиска, впрочем, и не напрашивалась. В холодные зимние ночи она согревалась около теплого коровьего бока, а то и вовсе забиралась на спину своей большой соседки. Так и дожила до весны. Однажды пьянящий воздух разбудил в ней естественные кошачьи инстинкты, и она самым обычным образом отправилась на свое первое в жизни свидание, а потом еще и еще, пока не почувствовала, что готовится стать матерью.

Именно в это время судьба и подкинула ей первое серьезное испытание: хозяйка продала корову, около которой прошло все Василискино детство, рядом с которой ей было так тепло и надежно. Первые два дня Василиска металась по двору в поисках своей любимицы, облазила все чердаки и чуланы. Но корова исчезла навсегда, и вместо вкусного молока хозяйка приносила иногда хлеб, а иногда холодную картошку.

Василиска нюхала все это, брезгливо трясла лапами и отходила прочь. Теперь она каждую ночь отправлялась на охоту и питалась только тем, что ей удавалось добыть, охотясь на прыгающее, ползающее и летающее племя. Она пробовала даже рыбачить: уходила на реку и подолгу сидела на плотике, любуясь тем, как играет на солнце серебристая мелюзга.

Спать она перебралась к теленку. Она лизала его мягкую шерсть, чесала за ухом, а он в ответ благодарно и протяжно мычал. Но наладившиеся было новые отношения оборвались неожиданно. Как-то утром в хлев пришел грязный бородатый мужик, от которого за версту разило перегаром. Василиска даже фыркнула, учуяв новый запах, но мужик подцепил ее под брюхо носком сапога и со злостью откинул в угол. Потом он надел теленку веревку на рожки и вывел его под весеннее, украшенное кучевыми облаками небо.

Предчувствуя неладное, Василиска сиганула в лес, еще холодный, влажный от только что стаявшего снега, усеянный синей щетинкой подснежников. Там она забралась на самую высокую ольху и со страхом поглядывала оттуда в сторону своего дома. Вскоре она увидела, как мужик, притащив откуда-то огромную жердь, перекинул ее с одной небольшой крыши на другую, а потом растянул на жерди какое-то черное покрывало. Покрывало лоснилось на солнце, и от него шел пар.

Василиска спрыгнула с дерева и начала подкрадываться к дому, временами попадая в колеи с навозной жижей, кувыркаясь и фыркая: трактора уже успели взмесить весеннюю грязь. Едва выбравшись, она повернула за угол, чтобы вскарабкаться на баню и хорошенечко все разглядеть. Но сделать этого не успела: прямо перед собой она увидела растерзанную тушу теленка. На жерди болталась его атласная шкура — та самая, которую Василиска столько раз вылизывала собственным языком.

Раздобревший, краснорожий мужик отрезал от туши кусок мяса и кинул его Василиске прямо под ноги. Повинуясь инстинкту, кошка схватила мясо зубами и кинулась в хлев. Но есть не стала, легла рядышком и затосковала.

В хлеву было пусто и холодно. Хозяйка больше не появлялась, а незапертая дверь жалобно поскрипывала в темноте. Василиска слегла. Несколько дней она не охотилась, не искала себе друзей, и даже не слышала, как однажды ночью подъехала машина. На следующее утро дверь хлева широко распахнулась, и в него шагнули малыши — мальчик и девочка.

Они присели на корточки и стали гладить свалявшуюся Василискину шерсть, а потом принесли ей воды в ржавой консервной банке. На другой день пришли снова, и девочка протянула Василиске кусочек колбаски. «Моя красавица!» приговаривала она полузабытым голосом хозяйки.

Сумасшедшая радость вернулась в Василискино сердце. Она даже было хотела, как обычно, перекувырнуться через голову, чтобы рассмешить маленького доброго человека, но только устало пошевелила облезлым хвостом. А девочка взяла ее на руки, обняла — и в этот момент сердце Василиски опять радостно ахнуло и полетело в пропасть.

К ней стали возвращаться силы. Целую ночь она не уходила с крылечка, боясь только одного — что девочка больше не вернется. Но девочка пришла и поманила ее в дом.

В доме, кроме девочки, обнаружилась еще и злая старуха, которая все время ворчала на Василиску и топала на нее ногами. Боясь взглянуть в лицо старухе, Василиска стрелой шмыгнула на печку.

Она жила там несколько дней, спускаясь вниз только тогда, когда приходила с улицы девочка. Тогда наступал праздник — маленькая хозяйка доставала с кожуха испачкавшуюся сажей Василиску, кормила ее и играла с ней.

Однажды девочка принесла с улицы котенка — гладенького, чистенького, игривого.

— Вот его и оставим, — сказала злая старуха, — а эту надо гнать прочь!

Василиска поняла, что речь о ней, и люто возненавидела котенка, который посягал на ее счастье — на теплую печку, на девочку, на миску порошкового молока.

Ее не выгнали — девочка похныкала, и старуха отстала. Но сразу же после этого начались стычки Василиски с Марфой (так назвали котенка). Только пух летел, когда Марфа случайно попадала в Василискины лапы.

— Ничего, вот окотится, будет кормить как своего, — успокаивала девочка старуху. Но старуха не верила и по-прежнему хотела сжить Василиску со свету. У держивало ее только то, что живот Василиски волочился уже по самому полу: выбросить на улицу беременную даже у этой злюки не поднялась рука.

Девочка поставила на стул коробку, постелила в ней тряпье, и однажды утром, когда все еще спали, в коробке появилось трое котят. Старуха выхватила их, еще мокреньких — и тут же утопила в помойном ведре. Василиска побрела в погреб и там родила еще двух. Но в погребе было холодно, и она перетащила своих детей на печку.

Она мурлыкала над ними, лизала их, а они ползали по ней, тыкаясь в соски. Потом один несчастный пискнул. Старуха среагировала мгновенно.

Василиска обреченно сползла с печки и, совершенно обессилевшая, равнодушная ко всему, прямо на диване родила еще одного котенка, который разделил судьбу остальных.

Началась прежняя жизнь. Потерявшая котят Василиска так и не приголубила Марфу: их взаимная непризнь и вражда продолжались и день ото дня становились ожесточеннее прежнего.

Старуха ругалась и брызгала слюной, приписывая Василиске все мыслимые и немыслимые грехи.

Однажды хозяин, которому надоело старухино брюзжание, посадил Василиску в мешок и отвез ее на ферму, в знакомый ей с детства мир. Но жизнь среди людей изменила Василиску, она по-прежнему искала теплую печку, ждала, что еду ей подадут на блюдечке, лезла к людям, чтобы потереться об их ноги. Правда, взамен она получала только пинки и окрики. И все-таки, когда в кормокухне собирались пьяные мужики, она приходила и жила среди них: ведь иногда ей перепадала сухая корочка от их скудной закуски, и она опять вспоминала то славное время, когда была домашней кошкой.

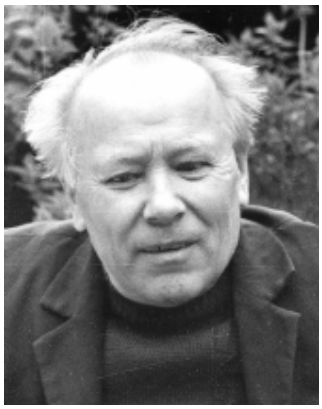
Однажды зимой в кормокухню зашел заснеженный человек. Увидев Василиску, он ахнул:

— Батюшки!.. вылитый наш Тимка!...царство ему небесное.

Он взял Василиску на руки, на вытянутых руках поднял поближе к лампочке — и вздохнул:

— Жаль, что ты не кот... ну да ничего, главное — что рыжая...вылитый Тимка! Собирайся давай, со мной поедешь. Вот хозяйка-то моя обрадуется!

С этого момента в жизни Василиски началась совсем новая, счастливая полоса. Она продолжается до сих пор.



Николай
Бойко

Стоверстник

Рассказ

Отсидев положенный срок за измену Родине (в плену у немца был, работал на него, вражину), Иван Комариков получил на руки справку с подписью начальника ОЛПа, что он, Комариков, теперь вольный казак и может распоряжаться собой, как сам хочет.

Покрепче зажав в кулаке драгоценную эту справку, Иван радостно поспешил за зону, на долгожданную волю — уже не через заколоченные лагерные ворота, не под конвоем, а через проходную, где ход ему прежде был запрещен и где ходили только его сторожа и притеснители.

Однако радость его оказалась преждевременной. В паспорте, который ему выдали в милиции взамен справки, стояла пометка «СОЭ» — социально опасный элемент. Похоже было, что в незавидной судьбе Ивана Комарикова мало что изменилось. Удлинилась только сворка, на которой его держали, да ошейник заменили на новый, но такой же жесткий и тесный — только-только чтобы не задушил Ивана, когда натянет он свою невидимую цепь.

Та же зона? А иначе как назвать то резко ограниченное пространство, на котором он имел теперь право жить и работать? Да, шире оно, намного шире лагерной зоны, но: в столице Советского Союза Москве и в столицах всех Советских Республик категорически запрещено ему проживать, разве только разрешается задержаться проездом на сутки; в городе Ленинграде

Николай Андреевич Бойко родился в 1925 году в белорусском Полесье, в семье крестьянина - середняка, покинувшего родные места в период раскулачивания. Учился в Киевском железнодорожном техникуме, закончить который помешала война. В 1941 году был призван в Красную Армию, на Полтавщине попал в плен, бежал; выданный полицаями немцам, был отправлен в Германию на работы. Из Берлина вновь бежал, направляясь в чешскую Моравию, но был задержан советскими войсками и отправлен в лагерь. Став из заключенного спецпереселенцем, окончил курсы буровых мастеров, работал на шахтах ГУЛАГа — буровым мастером, геологом, начальником участка картировочного бурения. Заочно учился в Воркутинском филиале Ленинградского горного института, откуда был отчислен по политическим мотивам. Затем работал машинистом бурильного станка, мастером, геологом в организации «Инташахтгеология».

В настоящее время — пенсионер.

Повести и рассказы Н. Бойко публиковались в журналах «Север», «Неман», «Звезда», «Радуга», «Уральский следопыт», «Волга», «Молодая гвардия», «Русь». В 1989 году в Верхне-Волжском книжном издательстве опубликовал книгу прозы «Новая хата с холодными углами». За роман «Под Андреевским флагом» удостоен областной литературной премии. Член Союза писателей России. В 2005 году опубликовал в нашем журнале подборку рассказов.

Живет в городе Шуе Ивановской области.

© Николай Бойко, 2006.

и других областных и крупных промышленных городах, перечень которых он должен знать назубок, как школьник стихотворение — тоже запрещается; в любой сельской местности, если она находится ближе ста километров от вышеназванных городов — опять нельзя.

Только на сто первом он мог жить и процветать!

К счастью, его родная деревня стояла на сто пятом километре от областного города. Так что, тут Ивану повезло. Правда, несколько сдерживало его радость то обстоятельство, что сельсовет-то, к которому была приписана его деревенька, находился как раз в запретной для Ивана зоне, на самой-самой границе. Граница проходила через сельсовет, можно сказать, посредине, отваливая меньшую часть в законное пространство, а большую, вместе с помещением сельсовета — в режимное, запретное.

Иван утешал себя тем, что режимное пространство — это уже другое село, что через него он пробежит спорой трусцой, на подогнутых. А еще лучше сделает, как только подойдет или подъедет на попутной подводе (автобусы в ту сторону не ходили) — обойдет его стороной, по-за огородами, чтоб только собаки запоздало вслед ему побрехали, и на том успокоились. Это, если дело будет происходить в дневное время. Ну, а если случится темная ночь, то все будет еще проще...

Потом, не позже трех суток по прибытию на место, он, конечно, сходит в это другое село — и поставит в известность Советскую власть, в лице председателя сельсовета, что он, Комариков Иван Федорович, отсидевший положенный срок на Крайнем Севере, приехал вот к родителям в гости и желает провести у них отпуск. И что может, если ему понравится, и насовсем тут остаться.

Иван шагал на станцию, перебирая в голове все то, что ему можно, и чего нельзя. День был мокренький, серенький — и в голове Комарикова ясности тоже не было: вернется ли он назад, повидав родителей? останется ли в деревне? Чаши весов колебались, все зависело от того, как сложатся обстоятельства. Хотелось ему, конечно, остаться с родителями, по горло он был уже сыт Крайним Севером...

На станции он огляделся и быстро оценил ситуацию. Тут было не протолкаться от вчерашних лагерников-бытовиков, которые никуда не ехали и ехать не собирались. Им и тут было хорошо: они шарили по карманам и квартирам железнодорожного поселка, и носился даже слух, что они уже захватили и ограбили скорый поезд «Воркута-Москва», а теперь ждут пассажирского... А что сложного? Приставил ножик к груди, или зажатое меж двух пальцев бритвенное лезвие — к лицу: «Даешь деньги — живешь, не даешь — прирежу!»

Нашли, кого освободить!

Слава Богу, с билетом повезло, поехал. Народу в общем вагоне, правда, столько, что только стоять — да еще народу такого, что знай карман держи широким кверху. Но Иван уже давно не зеленый фраер, блатари это видят.

Внешне он даже мало чем отличается от них — такой же подозрительный серобушлатный лагерник, только сменивший свой бушлат на перешитую, мелко простеганную телогрейку, под вид «москвички» с косо вшитыми карманами.

Он стоял в тамбуре, слушал, как под ногами выстукивали на стыках рельс колеса: «так-так-так! так-так-так!», вроде как одобряли, что едет домой, а не куда-нибудь. Раскачивался и весело мотался на стрелках разъездов вагон, летели назад чахлые редкие сосенки и обширные торфяные болота...Он летел навстречу воле, которая давно его ждала, навстречу родному дому и своей новой судьбе. Мчался своей охотой, и это было славно. Давно он так не ездил, всё возили!

Захочет вот прямо сейчас — и сойдет на любой станции. Вышагнет спокойно из вагона — и никто ему сзади не крикнет «А ну, назад! стреляю!», никто не скомандует заложить за спину руки. И пойдет он себе — хоть ровным, спокойным шагом, а хоть вподбежку до первой деревни. Устанет — завалится на зеленую мягкую траву и будет лежать вверх лицом, смотреть в глубокое синее небо, слушать, как стрекочут вокруг кузнечики. С кем

пожелает, с тем и заговорит. Допрежь всего, конечно с женщинами, с какой-нибудь молодой, под стать ему бабенкой. Скоро тридцать лет Ивану, дети уж давно в яйцах пищат...

Замечтался он, и не сразу услышал:

— Гражданин, ваши документы!

Смотрит — а это двое военных в фуражках с малиновыми околышами. Молодые, здоровые, рослые: сразу скрутят, только сделай лишнее движение. Позади них — еще и кондуктор, а может, поездной бригадир в железнодорожной форме. В холодных, нацеленных на Ивана глазах — строгое нетерпение и готовность мгновенно схватить и передать проталкивающимся через весь вагон красноармейцам с автоматами на плечах.

Подал им новенький паспорт со своей северной пропиской, еще не просохшей. И отпускное удостоверение, что работает на шахте N 1 Интлага горнорабочим очистного забоя.

Старший чекист внимательно изучил оба его документа, несколько раз при этом сличив фотокарточку с натурой.

— Куда едешь?

В документах все это было четко и ясно написано, но Иван ответил так, чтоб не придрались: ведь только и ищут зацепку снять с поезда!

— Та-ак... Через Москву, значит?

Неохотно вернул чекист документы и начальственно-властно предупредил:

— Больше суток в Москве не задерживаться! По прибытии на место — заявиться в сельсовет!

Таких проверок на пути Ивана Комарикова было еще несколько: в Печоре, Ухте, Княж-Погосте, Сольвычегодске... и последняя — уже в самом Котласе. А дальше легче стало, пошла коренная Россия — и перестали ходить по вагонам и спрашивать документы.

А там еще день прошел, и вечер пал — прямо на ту окрестность, где Ванька Комариков когда-то гусей гонял и в пруду купался. Стоял Иван и смотрел на все вокруг: ни село его не узнавало, ни он села — так всё изменилось. Да ведь столько воды утекло! Покинул он эти места в восемнадцать неполных лет, а вернулся чуть не в тридцать. За это — ох, какое время! — ни села, ни Ивана вообще могло не остаться. Ан нет, повезло, посчастливилось снова встретиться.

За те двенадцать лет, что Иван воевал и сидел в лагерях, село нимало не выросло и не расправило после победы плечи. Наоборот, вроде как ссохлось оно, сморщилось, точно старая, изможденная женщина, стало каким-то беззубым. Там и сям совсем исчезли дома, или стояли с провалившимися крышами и черными, мертвыми окнами.

Может, и сам Иван Комариков не таким уж бравым женихом выглядел, как думалось ему самому — тоже ж и зубов, и много чего еще лишился он за эти годы, охрип, огрубел и сел его голос, мало осталось в душе доброты, но все же стоял, прочно еще стоял он на земле. А село, снившееся ему по ночам и поддерживающее душу его на плаву, как упало на колени в войну, так уже и не поднялось с них. Может, и пробовало, да сноваголод его пришиб, навалившись в сорок седьмом году. Писал отец, что наложили страшные налоги, что вымели все под метлу до последнего зернышка...

На свечеревшей улице — ни живой души. Раньше, подумалось Комарикову, село так бы его не встретило: об эту пору и в одном, и в другом, и в третьем конце села устраивались вечорки, играла гармошка, девчата плясали и пели озорные частушки. Взрослые парни, женихи, сухота девичья — эти отдельно; подрост, мелкота — тоже сами по себе, у них и гармошки не водилось. Зато на всю улицу тренькала балалайка и раздавались глухие звуки «бухала» — небольшого похватного барабанчика с медными голосистыми бубенцами и бляшками.

Весело было, матери невесток и зятей себе подбирали! И Ванькина мать тоже приметила Марусю с другого конца улицы...

Он шел по селу — и удивлялся: ни огонька на улице, ни синь-пороха. Хоть бы жировая плошка светилась в каком-нибудь окошке! Желтым слабым светом горела одинокая лампа только на скотном дворе, что стоял далеко в стороне, само же село покорно погрузилось в ночь, в сырую тьму.

Темные окна и в родительской хатке. Ее почти не видно из-за разросшихся сливняка и вишенника — притаилась в темноте и молчит. Глянул Иван на свои «золотые», купленные с рук на поселковой толкучке за пятьсот рублей: нет еще даже восьми, а его старики уже спят!

Вошел через незатворенную калитку в узкий затравянелый дворик со слабо наторенной к сенным дверям тропкой, поднялся на низенькое крылечко — и зависла рука в воздухе, не смог постучать. Стоял, ждал чего-то. А сердце — оно наоборот, прямо молотом стучало в ребра. Но тихо-тихо было в хатке. Прервалась, знать, тонкая связь между ним и матерью, не отозвалось мамино сердце на этот стук, не подсказало ей, что вот он, Иван — стоит под стеной и замирает от предвкушения радостной встречи. Шагнул к окну, оно совсем было рядом — темное, маленькое, чем-то плотным изнутри завешенное. Легонько, согнутыми пальцами, постучал в нижнюю половину подгнившей оконной рамы, как стучал когда-то очень давно, приезжая на малое время из техникума на летние каникулы.

— Кто там? Кому ночью не спится? — послышался мамин, сразу узнанный им голос.

— Прохожий. Пустите переночевать, добрые люди, — попробовал он пошутить.

Не узнала! Забыла его голос? Или так сильно он изменился?

— Ступай себе, прохожий. Хатка у меня тесная, много блох. Самой спать не дают...

Тут уж не выдержал он, воскликнул:

— Мама, тата! Это же я — ваш Иван! С Севера, с шахт!..

Отперла мать двери и упала Ивану в руки. Так и внес он ее — усохшую, легкую, обессилевшую — на руках в хату. Бережно усадил на лавку рядом с собой. Какая-то совсем маленькая стала — словно подросточек сидел рядом с ним, прислонясь к плечу простоволосой головой. Обиженный подросточек, который, уже вволю и безутешно наплакавшись, теперь только тихо, мокро всхлипывал.

Он обнял ее за узкие, острые плечи — Бог ты мой!.. сплошные косточки, обтянутые кожей!.. — и прямо-таки задохнулся от жалости. Такой ли оставлял он ее!

— Ну, как вы тут с отцом? — с трудом произнес Иван Комариков. — Где он, всё на скотном скотину сторожит по ночам?

— Отсторожил, сынок, твой бедный отец, — сказала мать тесным, перехваченным голосом.

— А что с ним? Заболел, положили в больницу?..

— Забрали твоего отца, вот уже месяц как сидит в тюрьме. Может, даже увезли к тебе на Север.

— За что? Кому он, инвалид войны, перешел дорогу?

— За колхозную корову, Ваня. Пропала, когда дежурил. Вечером привезли на скотный картошку — да и оставили так, ничем не прикрывши. А она выбралась из хлева, наелась да и подавилась, не смогли отходить. Сказали: «Спал, не доглядел. Поставь теперь свою — или сам садись в тюрьму!» А где у нас корова? Давно, сынок, извели, не под силу стало держать.

— Эх, раньше узнать бы!.. — крякнул Иван.

Мать часто дышала ему в грудь, слезы ее мочили ему телогрейку. Эх, что бы им сразу дать телеграмму!.. так, мол, и так, стряслась большая беда, выручай, сынок, как можешь! — разве он не помог бы? Собрал бы все свои лагерные деньги, занял у друзей по несчастью — покупайте корову, пусть подавятся ею! А теперь вот что?.. он — сюда, а отец — туда, вроде как на срочную замену...

С утра пораньше побежал Иван в сельсовет: раз велено сразу по приезде отметиться — значит, надо. Сколько этих отметин уже на нем — и черно-синих от каменного угля, и

фиолетовых, как круглая казенная печать, и желтых с зеленоватым о ттенком, как после увесистого следовательского кулака... Живого места не осталось, чтобы новую печать поставить... а вот идешь-таки за новой.

Он шагал по проселочной дороге между пустующих пахотных полей и чувствовал, как что-то его все время одергивало из нутри: «Да не ходи, Иван! Заверни оглобли назад! На лбу у тебя, что ли, написано, что ты опасный элемент? Или гранатами ты со всех сторон обвешан, динамит с собой в чемодане привез? Дак чего ж тогда лезешь на рожон? Вернись, поживи тихо у матери, сколько душе твоей угодно — а потом, вечером, уедешь обратно...»

Но лагерная привычка, привитая еще немцами — слушаться и повиноваться, в точности исполнять все приказы начальства и написанные правила — взяла свое, и вскоре он уже стоял перед сельсоветом, бывшим к улацким пятистенком, с лопотавшим что-то на ветру, красным, высоко поднятым над соломенной крышей флагом. Рвался куда-то флаг с флагштока, но не дано было ему и сняться и улететь.

На расшатанном сельсоветовском крыльце снова подал внутренний голос сомнение : «Может, не надо, Иван?..» Но чего уж тут, когда пришел, когда уж ногу занес через порог?

— Здравия желаю, товарищ председатель! — бодро сказал Иван сидевшему за столом человеку в поношенном полувоенном кителе. — Я к вам с Сидоровки.

— Чтой-то никогда тебя там не встречал, — подозрительно посмотрел на Ивана человек в кителе. — Как понимаю, откуда-то приехавши?

— Так точно, с Крайнего Севера. В отпуск к родителям, — доложил Комариков честь по чести.

— Ну и гуляй себе на здоровье, гуляй. Главное — соблюдай наши советские законы.

— Вот, соблюдая, и пришел к вам. — И с этими словами Иван вытащил из внутреннего нагрудного кармана свой новенький паспорт, в котором было написано, что его владелец обязан в трехдневный срок явиться в органы местной власти и стать н а учет.

— Ты что, военный, служишь в особенных частях? Так надо обратиться в военкомат, — подобрел председатель глазами и голосом.

Брякнул Иван:

— А посмотрите: у меня здесь пометка «СОЭ».

— А что это еще такое значит? Служба секретная?.. особая?

Еще и тут мог Иван Комариков схитрить (сам ведь этот, в кителе, все и подсказал!), мог напустить тумана насчет «службы секретной», и отступить без потерь: они, похоже, здесь слыхом не слыхали ни о каком СОЭ. Но проклятая привычка выворачивать не только карманы перед вохровцами, но и душу, сработала безотказно.

— Это такое значит, что я... социально опасный элемент.

— Ну, удивил!..Да ты, парень, шутник, я вижу. У меня здесь все социально опасные — почти три года жили под фашистом. Знаешь, как обфа шистились? Ого!

И тут еще была возможность обратить все в шутку и разойтись хорошими друзьями. Ведь даже не спрашивает председатель, к кому он приехал!

Но сам черт, похоже, толкал Комарикова под бок.

— Оно так, — переступил Иван с ноги на ногу. — Да я, видите ли, такой, ко торый... которому разрешается работать в колхозе не ближе ста километров от областного города.

— Все шутишь, парень? У нас в колхозе... — И тут человек в кителе неожиданно застрял на полуслове, встрепенулся:

— А ну, дай сюда, посмотрю!

Осторожно, точно бо евую гранату на взводе, взял он в руки протянутый Иваном паспорт, полистал, почитал, что написано на двух последних страничках (а там были напечатаны мелким шрифтом права Комарикова жить на земле), и глаза его потемнели, а голос враз потвердел:

— Да ты, оказывается, та еще птица с клювом!.. Тогда вот что, мой дорогой -желанный! — и пристукнул кулаком по столу. — Как залетел сюда без спросу, так подобру - поздорову и вылетай. Три дня сроку даю — и чтоб духу твоего тут не было. А не то — пришлю милиционера, и пойдешь под ружьем в район!

И показал Ивану вытянутой рукой на дверь.

Трудно было Комарикову объявить матери, что у нее такой гость, который долго не погостит, что уже чрез три дня должен он сматывать удочки. Но и обмануть, что получил он срочную телеграмму на почте, что в пожарном порядке вызывают его на работу, язык не повернулся у него. Не дай Бог, узнает потом правду, какой он на самом деле зауздан ный и стреноженный... Не выдержит она такого удара, слаба.

Всего лучше было бы забрать ее с собой. Бросить все тут — гори оно синим огнем — и назад, на Север, в лагерную Инту, из которой никто уж не выгонит. Но под какую крышу? К себе в землянку, в которой стены изнутри обрастают белым морозом?

Все, что смог он сделать — попросил маминых соседей, чтобы помогали ей по силе возможности, А за это он будет присылать им деньги по почте. Мол, зарабатывает он на Севере в шахтах хорошо, одному ему много ли надо?

А с мамой он один вечер посидел, другой — и, наконец, все же сказал, что ему надо срочно уехать назад, на работу. Специально отзывают. Как узнали, где я? Дак, когда выдают отпускное удостоверение, то всегда отмечают, куда едешь, полностью весь адрес. И не врал ведь он тут!..

— Такой у нас, мама, порядок на Крайнем Севере — всегда как за ногу привязанный. Но ты не горюй!.. жизнь такая. Может, встречу там отца... их, инвалидов, держат в отдельном лагере, я знаю даже, и в каком...

Не был он уверен до конца, что мать поверила. Покивала головой, сказала так: если б забирал ты меня, Ваня, с собой, все равно бы не поех ала. Здесь буду умирать, хочу в своей земле лежать.

— Окромя того, я тут сама себе хозяйка. Сяду на лавке, дак никто не придет и не скажет: «А ну, отсунься, я сяду!» А что касательно отца, то постарайся его там разыскать и пообещай его начальству поставить в колхоз корову. Может, отпустят его тогда?..

— Пообещаю, мама.

Эх, мама! Наивны твои представления о гулаговском Севере, такие на ивные, что просто диво. Думаешь, что все так, как в твоем селе, где все знают друг друга: не пошел утром у соседки дым из трубы — кума бежит посмотреть, не случилось ли чего с ней худого, не захворала ли?

Не стал Иван Комариков ее разубеждать. Подумал, что это как раз тот случай, когда щадящая ложь спасительней убойной правды. Ну, признается он ей, что сейчас его одно место только ждет, Крайний Север — и разве хорошо сделает? Нет, пусть мать думает, что сын у нее — вольная птица и летает там, где хочет, садится на ту ветку, которую сам выбирает.

ПРОЗА

Вячеслав Арсентьев

Снится мне дом

Рассказы

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Корреспондента областной газеты Сумина направили в командировку в его родной район. Поезд приходил рано, в редакции и районной администрации еще не работали, поэтому он, сняв номер в гостинице и наскоро перекусив, отправился побродить по городу, чтобы как-то скоротать время. Было морозно и ветрено, городские достопримечательности скрылись от глаз людских под снежным покровом, и он зашел на рынок. Здесь шумные и шустрые торговцы барахлом ставили раскладушки, очищали от снега прилавки и раскладывали на них тряпки, туалетную воду, шампуни, еще какую-то мелочь. Маленькие, громко лопочущие на своем языке вьетнамцы развешивали на плечиках разномастные импортные куртки. В клубах дыма урчали у продовольственного магазина синие и желтые фургоны. Пробегали редкие еще в столь ранний час покупатели.

Сумин не спеша прошелся вдоль рядов, с интересом наблюдая за утренней суетой. На таких базарах ему приходилось бывать нечасто. В своем городе он не любил ходить, все больше жена промышляла по части покупки вещей и съестного; в командировках тоже как-то не приходилось: цели не было, а подчас — и времени.

Вдруг он услышал перебранку: спорили две женщины. Спорили из-за фанерных ящиков, которые, видимо, были нужны под импровизированный прилавок. Одна, в мужской шапке-ушанке, офицерском полушубке и больших мужских валенках, ходила вдоль ящиков и бесцеремонно

Вячеслав Арсентьев (Вячеслав Николаевич Мешалкин) родился в 1952 году в костромской деревне Селезенево. После окончания филологического факультета Костромского педагогического института пять лет учительствовал в сельской школе, затем возглавил Поназыревский райком ВЛКСМ. В 1983 - 1985 гг. учился в Горьковской Высшей партийной школе, после окончания которой работал в райкоме партии на разных должностях. Избирался секретарем Поназыревского РК КПСС.

После августовских событий 1991 года вернулся в школу, преподавал историю и литературу в старших классах. С 2002 года редактирует Поназыревскую районную газету «Районный вестник». Член Союза журналистов России.

Стихи и рассказы В. Арсентьева публиковались в областной периодике и коллективных сборниках. В 2001 году в г. Шарья увидела свет его первая книга — «Провинциальные истории». Через два года там же была опубликована книга рассказов В. Арсентьева «Фролов день на родине». В 2005 году опубликовал в нашем журнале подборку рассказов.

Живет в поселке Поназырево Костромской области.

© Вячеслав Арсентьев, 2006.

скидывала разложенные на них носки и разноцветные варежки в большую сумку другой женщины, постарше. Пожилая робко попробовала было воспрепятствовать погрому, но молодая, в грязном белом полушубке, хриплым, низким, грубым голосом выговаривала ей:

— Я же тебе, старая перечница, что говорила? Иван привез эти ящики мне. На кой хер лезешь?

— Да никто их не привозил. Это грузчики из павильона забыли третьего дня, — защищалась пожилая. — На чем твой Ванька их привезет?

— На х..!— парировала обладательница полушубка. — На чем надо, на том и привез!

— И не стыдно тебе, Лилька! С утра, видно, уже причастилась.

— Что стыдно, то не видно! — ответила Лилька. — А причастилась или нет, у тебя, пердуньи старой, не спросилась.

Она закончила очищать ящики от чужого товара и, закурив «примину», принялась раскладывать свой.

Старушка ушла. Сумин стоял в стороне, пораженный. Нет, не грубостью увиденной сцены, совсем другим. Эта, в мужском полушубке, так была внешне похожа на ту девочку, которая когда-то, пятнадцать лет назад, была по-детски влюблена в него, и в которую неожиданно был влюблен он. Тот же чуть вздернутый нос и сочные крупные губы, те же голубые глаза. И то же имя. И вместе с тем, как она не похожа на ту. Нет, быть не может, не она! Разве та могла бы...

...В полутемках кинозала он случайно оказался с ней рядом — опоздал и сел на первое попавшееся свободное место — и, пока она плакала над тем, что происходило на экране, над этой арабской чепухой, зашептал ей на ухо какие-то каламбуры. Она сначала улыбалась, а потом смеялась приятным грудным смехом. В полумраке ее лицо казалось ему красивым, девически свежим. На них оглядывались ; он не обращал внимания, потому что был чуть пьян, отметив накануне встречу с дядей. А в таком состоянии он был весел, находчив и оригинален — так, по крайней мере, ему казалось — и, конечно, безрассудно храбр. Девушка уже не опускала голову на очередной душераздирающей сцене, напротив, весело смеялась: его остроты уничтожали картину.

Шли втроем: она, ее подруга и он. Наконец, остались вдвоем. Он попробовал уговорить ее пройтись по лежневке в глубь леса. Она как-то сразу согласилась.

Августовская ночь была хороша: не холодная, а чуть прохладная, с чистым звездным небом. И лес был тих и однообразен в покое тишины и темноты; одинокие березы чернели на узких полянах рядом с низкими стожками сена. Они шли, взявшись за руки. Он кончил говорить, взволнованный близостью ее красивого лица и красотой ночного неба, с которого иногда скатывалась звезда и исчезала за непроницаемо плотной стеной леса.

— Ну, расскажи еще что-нибудь, — попросила она. — Ты так здорово умеешь фантазировать!

— На какую тему вам угодно, мадам? — его забавляла эта девочка.

— Например, о себе.

— То есть, биографию? Родился в Молдавии, отец — чех, мать — полька. Сам долгое время жил в Сибири, изучал историю русского раскола. Сюда приехал посмотреть церковь в соседней деревеньке Леонтьево на предмет ее возможной реставрации, если она, действительно, является памятником искусства...

— Ой, ой! — перебила она, засмеявшись. — И никакой ты не чех, приехал в Соболево к Васильевым. Когда-то закончил нашу школу, а учился на журналиста...

— Всё вы путаете, мадам! Тот, правда, приехал к Васильевым, и похож на меня. И борода тоже черная...

Они долго сидели на прохладных жердях ограды, он говорил о звездах, о других мирах, где всё совсем иначе, нежели на Земле, шутил, рассказывал анекдоты, на ходу сочинял стихотворные экспромты. Потом они искали в траве светлячков, дурачились, как пятнадцатилетние. Ей действительно было шестнадцать или чуть больше, хотя, глядя на

плотную фигуру, высокую грудь, длинные крепкие ноги, ей можно было дать все двадцать.

Потом они вернулись в поселок и обошли, прижавшись друг к другу, спокойно спящие улицы. Подобно озорникам-школьникам, слазили по шаткой лестнице на школьный чердак, где хранились сломанные парты, и он показал ей укромный уголок. Здесь много лет назад прятался он от строгого директора Сергея Александровича, когда тот выходил на «рыбалку» — обшаривать чердаки и сараи в поисках прогульщиков. Заглядывали в темные окна классов, стараясь в густом мраке разглядеть свои парты. Наперебой вспоминали учителей, у которых им когда-то, правда, в разное время, довелось учиться.

— А Мария Михайловна умерла прошлой зимой, — сказала она.

Ему сразу вспомнилась маленькая хромая старушка, учительница начальных классов, с вечным пуховым платком на плечах, добрая к малышам и придирчиво строгая к старшеклассникам.

— Хочешь, пойдем на кладбище? Я покажу, где похоронена Мария Михайловна, а ты мне что-нибудь расскажешь... — вдруг предложила она.

Ему не хотелось идти на кладбище, очень уж много неприятных воспоминаний было связано у него с этим местом; ему больше хотелось посадить ее на колени и долго-долго шептать ей на ухо что-нибудь глупое. Смешно? Посадить на колени... Конечно, смешно!

И все-таки она сидела у него на коленях в эту ночь, после того, как они обошли все кладбище, и он, замирая от восторга и думая только о ней, на ходу сочинял смешные истории из жизни покойников, благо, он хорошо знал многих похороненных здесь. Он не замечал, что иногда подшучивает и над своими умершими родственниками. А она весело смеялась над каждой его байкой и, когда в смехе открывались ее полные сочные губы и ряд ровных зубов, ему казалось, что он готов на все, только бы хоть раз поцеловать эти губы. Он попробовал было это сделать, она не далась.

— Если бы это серьезно! — отворачивая лицо, сказала она.

Голос ее показался ему совсем детским, так просит ребенок: «Не обижайте меня!»

— Что — серьезно? — не понял он.

— Так ведь для тебя баловство, поиграть только!

— Я завтра уезжаю, и навряд ли мы больше увидимся.

— Тем более!.. Я пойду, — сказала она и отстранила его руку.

У калитки он догнал ее и обнял...

В деревню шагал напрямик, полем. Было три часа утра, рассветало. Пропали звезды; высокие облака превратили небо в матово-белое полотно, однообразное, по краям простроченное голубыми полосками. В овраги падал туман, и жнивье отпотело, покрывалось росой.

«Вот, действительно, анекдот! — думал он; ее лицо стояло у него перед глазами. — Пошел искать приключений, а нашел... какую-то ненужную себе заботу...» Он вспомнил запах ее волос и вспомнил ее всю: ее мягкие, светлые, волнистые волосы, узкую красивую ладонь и мягкий грудной голос. «Совсем девчонка, пустая, взбалмошная, глупая, наверное. Но что за странное состояние: где-то внутри, в глубине тела, болит, нестерпимо хочется опять увидеть». И он, встревоженный, вспомнил бунинского поручика и удивился вдруг, насколько верно передал его любимый писатель состояние «солнечного удара». Он вот только сейчас предельно ясно осознал, что и у него сейчас — тот же глупый, случайный «солнечный удар», и что невозможно уже ничего изменить: вечером он уезжает.

Он не уехал. Мало спал. Вставал, садился у раскрытого окна; пели петухи, деревня просыпалась вместе со скрипом колодезного «журавля»; затрубили коровы, собираясь на выгоне. Из сада тянуло холодом; сыростью обдавало тело, он не замечал этого, быстро курил, щелчком сбивал окурки в сырую траву под яблони... и не думал. Это, пожалуй, удивило его: мыслей никаких не было, но была такая тоска, такая непроходящая боль, что он застонал. «Да это ж глупо, в конце концов. Мне двадцать пять — и эта девчонка. Что я,

в самом деле, залитературился, жить по Бунину начал. Комедия, а я драму разыгрываю!» Ирония не помогала.

Днем погода резко изменилась. Из-за леса, с севера, наползла туча, а на западе урчал гром, все чаще переходя в пушечные выстрелы с долгим ухающим эхом. Стемнело рано; сильный ветер сломал сук у тополя рядом с домом; гром выл и, захлебываясь, сыпал сухим треском. Ливень кончился, когда стемнело; грозу отнесло в сторону. Мир постепенно погружался в беспросветную ночь и, если бы не высокие болотные дядины сапоги, он не раз бы искупался в лужах, особенно у заброшенного кирпичного заводика, где было много глубоких ям.

Несмотря на непоздний еще час, поселок выглядел вымершим. В редких окнах мигали огни. Черный, лоснящийся от сырости клуб, похожий на океанский танкер среди мелких суденышек-бараков, угрюмо молчал всеми тремя крыльцами.

У знакомой калитки он остановился. В боковом окне, что выходило в огород, горел свет. «Ну, и что дальше? — спросил он себя. — Ждать? Кого и чего? Стучать?»

Из темного неба иногда вываливался частый мелкий дождик, сеял минут пять и прекращался неожиданно, но так же неожиданно начинался вновь. По лужам быстро-быстро зашлепало: мокрый серый пес влез в полосу света. Пес отряхнулся, фыркая, обнюхал ноги стоящего человека, повертел вислоухой головой и зашлепал по лужам дальше.

Часы показывали десять. Замшевый пиджак его промок насквозь. Надо было что-то делать, и он по раскисшим грядкам пробрался к окну, постучал тихо в стекло, потом еще раз. Сердце дрогнуло и радостно забилось, когда занавеска приподнялась и показалось ее лицо, ожидающее, испуганное. Она узнала его; он замахал рукой, выйди, мол! И вскоре она выскочила — в платочке и плащике белом, который под дождем быстро посерел; и он целовал ее теплые, пахнущие вишневым вареньем губы, и что-то шептал, и опять целовал мокрые руки, щеки, волосы — все, что он видел, что было перед ним. И она целовала, не по-детски кусая ему губы, и прижималась горячим телом, и не было ночи и дождя, ничего и никого, кроме них, не было.

И вдруг ее кто-то оторвал от него, и она полетела в мокрый цветник, упала там на спину.

— Я тебя, проститутка, буду плетью воспитывать! А ну, марш в дом! — кричал невысокий щуплый мужичок, ее отец. — Марш, я сказал, паскуда! А ты вон, мразь городская, фраер еб...й.

— Папа! Ты ничего не понимаешь. Он не такой! Он хороший. Женечка!

Отец схватил Евгения за рукав и потащил по проулку к калитке, зло, с бешенством в голосе, приговаривая: «Знаем мы вас, еб...й городских, кобелей сраных!» Евгений, выше мужичка на голову, вдруг опомнился, но покорно шел, чувствуя на своей руке когтистые цепкие пальцы.

— Да постойте, вы! — он решительно остановился.

— Счас, блядь, колом угощу! Или пристрелю, как бешеного пса! — кричал мужик, ногой открывая калитку. — Вон! Убирайся к чертовой матери!

Он толкнул Евгения в спину.

— Папа! Не надо так! — в слезах кричала от крыльца Лиля.

Он был настолько ошарашен этой неожиданной и необъяснимой расправой, что не предпринял ничего, хотя в душе все клокотало от обиды и вопиющей несправедливости. Хотел ворваться в калитку («Стукну — убью!»), но вместо этого развернулся и, глотая тяжелые комки в горле, пошел прочь...

Уже потом, много лет спустя, он случайно узнал причину агрессивной грубости ее отца. Оказалось, что года за три до того злополучного августа старшую сестру Лили, Маргариту, увез с собой в город «вербованный», шустрый городской стиляга. Таких перекати-поле раньше в поселке появлялось немало. Увозил — обещал златые горы и реки, полные вина. Гор в наличии не оказалось, а вот вина... того было выше головы.

Вскоре возвратилась Маргарита домой, спившаяся основательно, до потери чести и совести, и зимой замерзла пьяная в поле, выгнанная ночью очередным деревенским ухажером.

... Корреспондент Сумин так и не подошел к той полупья ной женщине. А вечером не отправился по знакомым адресам — у себя в гостиничном номере крепко выпил.

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК

Прошлым летом мне удалось побывать на родине, в деревне Ельники, почти вымершей. Молодежи здесь нет. Давно разъехались молодые, и уже успел и постареть, а многие — и безвременно поумирать по городам и весям славного нашего отечества. Если какой голубь с поломанными крыльями и возвращался под отчую крышу, то только затем, чтоб пожить пару лет бобылем и горьким пьяницей — и отойти к прадедам, на заросшее сорняком и кустарником, необихоженное сельское кладбище.

На самом краю деревни, у реки, тремя окнами в поле, стоит дом Ивана Михайловича Жукова. Дом добротный еще, но и его уже коснулись следы разрухи и старости. Гуляет под ветром старый тычинник, сыплется кирпич на печной трубе, дранка на сарае кое-где выщерблена и черна от времени. Да и неудивительно — Ивану Михайловичу восьмой десяток, жену два года назад похоронил, один как перст. Детей нет, помочь некому, в деревне остались пять старух да мал о на что годный Вова Марьин, пятидесятилетний скиталец по свету, выгнанный всеми и отовсюду.

Не стуча вхожу, да и стучать бесполезно: туговат на ухо дед Иван, более того — телевизор работает на полную мощность, слышен голос Бориса Бабочкина: «Где должен быть командир?! Впереди!!»

«Чапаева» смотрит, — догадываюсь.

В избе — как у всякого одинокого старика — и запах тяжел, и до чистоты и порядка далеко. Из резных полукруглых дверей прихожей (мастеровым был когда-то Жуков) заглядываю в большую половину. На к ровати, в валенках, лежит сам хозяин и, уставив глаза в потолок, внимательно слушает... телевизор. Черный ящик не освещен голубым экраном, зато орет, сотрясается пулеметными очередями и взрывами снарядов: там идет гражданская война!

— Но еще хорошо, что хо ть говорит-то, — объясняет мне, уже сидя за столом, Иван Михайлович. — И бутылки для этого Карамбы (так здесь зовут Вову Марьина) не жаль. Спасибо — звук наладил! А то совсем худо. Радива пять лет как нет, и столбы вон уронили. Мастер к нам не едет, в райо н не увезти, а новый-то на какие шиши купишь? Пензию, сам знаешь, как дают... Нет, я-то еще хорошо, я-то еще что, даже старухи ходят ко мне слушать, как ее... «Барбару»! А пока Карамба звук не сделал, месяца два жили, как в берлоге. И не знали, что на свет е делается. Есть ли мир-то, стоит ли еще, или окромя нас никого не осталось? Как, говорю, баушки, будем плодиться-то, новый Ерусалим создавать, коль одни во всем свете...

Дед Иван хмелеет и, соскучившись по живому человеку, мужику, говорит много и долго. Летнее вечернее солнце медленно опускается в густой сосновый бор на той стороне реки, и его остывающие лучи наполняют избу покоем и умиротворением, высвечивают на стене фотографии давно умерших людей, почетные грамоты ударника-колхозника Жукова в самодельных рамках, гармонь на комоде, потухший и замолчавший теле визор.

— Как ведь жизнь сложилась, — жалуется то ли себе, то ли мне, то ли еще кому, невидимому, Иван Михайлович, — родился и детство прошло в какие-то там перевороты, коллективизации. Сходятся в кучу, разбегаются — ералаш, одним словом, бедность, неразбериха... Прибежишь из школы и сразу: «Мамк, а Мильку еще не увели?» И в школе-то не об уроках думаешь, а об корове: не увели ли. Тятя — что упрямый баран: в колхоз не пойду! Ну, его и гнут, налогами ду шат, лошадь отобрали, потом — корову... Да. И

умирать вот приходится в такое разбродное время. Не понять, что к чему. Прошлое огадили, что можно растащить — растащили... Однако, ладно о политике, слухай сюда! Антересный случай расскажу. Тут к Кузьмовне при езжает внучка из Москвы...

Ухожу я от старика Жукова уже в сумерках. Солнце плотно вкатилось в ветви сосен, иволга запела в прибрежном кустарнике, а из приоткрытого окна крайнего дома (хозяин опять включил телевизор) не слишком уверенный, но громкий, знако мый голос очередного кандидата в правители страны убеждает всех — и меня, и одинокого старика на кровати, и проклюнувшиеся на небе редкие звезды — в преимуществах новой жизни.

Слушает ли дед Иван, спит ли, — как знать? А может, черному ящику все равно?

ПРОВОДИЛА ЛЁШКУ

Алексей закинул за плечо рюкзак и широко зашагал полем к дороге, почти побежал, чтобы не слышать всхлипов матери. А она стояла у сгнившего прясла и долго, прижав платок к носу, смотрела в широкую спину сына, пока его крупная фигура не ск рылась за поворотом дороги, в мелколесье.

Она еще постояла, всплакнула, высморкалась в фартук и, осторожно поднимая больные ноги, поплелась лугом к дому.

День выпал на удивление хорош. Солнце, как раскаленный огромный камень, дрожало в холодном небе. С серой ботвы, с зеленой отавы, с лесин, привезенных на дрова, не успел сойти иней, и его мелкая, искристая пыль радовала глаза. Устинья захотела отдохнуть, но в пустой дом не очень тянуло, и она кое-как поместила свое уродливое распухшее тело на порог бани. Из-за банных дверей тянуло плесенью, сыростью, гнилым березовым листом, грязным бельем. Она вспомнила, что давно не стирала, и не мылась тоже давно, около трех недель. Сын приехал на три денька, но попариться в родной баньке не успел — всё дела. Нужно было рассчитаться в совхозе, сдать машину... Ну, и погулять, вина попить напоследок, ведь как-никак из родной деревни он подался, наверно, насовсем...

За соседским тычинником показалась голова в облезлой меховой шапке, странно подергалась, потом исчезла. Через м инуту из огорода напротив весело захромал старичок в рваной фуфайке и старых валенках с калошами.

— Спроводила Лешку-то?

Старичок уселся на лесину, достал кисет и, не дожидаясь ответа (да она и не расслышала вопроса), многозначительно заметил:

— Все сбегут, коли делать нечего... Ты, Устинья, вот что, ты ехала бы к Нинке. Скажи: забирай, мол, как мне одной-то?.. А то ко мне переходи, ох заживем, с коровой-то!

Он подмигнул, пуская сквозь калмыцкие усы тяжелую струю дыма.

— Лонись я говорила... Продавай, грит, корову. Да я ведь так рассужу: пока денежки-то есть, держать будут, а как выйдут, так и не мила станешь...

— Это дочери-то родной не мила? Я бы на твоем месте приехал! Примай, какова есть!

— Так ведь дому жалко, Николай! — простодушно заметила Устинья. — Ох, пойду, в печи еще не загребено.

Она с усилием приподнялась, едва не охнула, почувствовав острую боль в пояснице, взглянула на солнце и потащилась к своей ограде. Вслед летело негромкое, язвительное бормотание соседа:

— Дом ей жалко! Сгниет, а деньги то й же Нинке уйдут. Ех, ештвой в корки!..

В хлеву она долго возилась с коровой. Совсем нездоровилось, едва подоила, отнесла пойло. Потом легла на кровать, и лежала до тех пор, пока дверь на улице не захлопала.

— Я гляжу, чтой-то и печку рано протопила. Али у ехал Олексей-то? — усаживаясь на диван, заговорила Лида, давняя и верная подруга Устиньи.

Они дружили еще с девичества, когда вместе ходили на вечерки и плясали по праздникам на площадке у сельсовета. Судьба им сперва одинаково улыбнулась, обе

счастливо вышли замуж, но после войны Лидия осталась вдовой, а Устинья еще шесть лет жила с безногим мужем.

Не было в деревне ни у кого, пожалуй, столь крепкой дружбы, как у этих шестидесятипятилетних старух.

— Всю меня изломало, — невесело ответила Устинья. Она сунула ноги в валенки и села рядом, на кровать.

— Дивно ли — весь сенокос билась, как шальная. В наши лета только лежать. Тут и молодому не наболтать, по ямам-то.

— Нет, всё здоровая бегала. А вот давеча присела у бани и заломило спинушку, да и в ноги вступило.

— Продавай корову, не майся. Или сдать ее... самое время!

— А жить-то чем?

— А я-то чем живу? У меня похуже твово, никем никого, одна, как кол в поле.

— И то, девка, верно...

За разговором Устинья успела поставить самовар, они напились чаю с черничным вареньем и даже выпили из четушки по маленькой: может, полегчает? Вспомнили умерших знакомых старух в окрестных деревнях — кто как жил, хорошо или плохо, счастливо или не очень. В добре, удаче и счастье проживших жизнь вспомнить не смогли, как ни старались: у каждой из местных жительниц была хоть и своя, на особинку, судьба, но обязательно — трудная, с несчастиями и каким-нибудь горем.

— Не, нисколько умирать не страшно, — говорила Устинья, заскорузлыми пальцами перебирая бахрому скатерти на столе. — Хватит, пожито. И увидено немало, и переделано — не счесть.

— Да как не страшно, что ты, — противоречила Лидия. — Ох, как неохота! Закопают, оставят лежать одну-одинешеньку...

— И здеся тяжело! Всё ведь ломит, всё ноет, я бы к маме под бок хоть сичас...

Подошел бригадир, позвал перебирать картошку. Лида отругала его за бесхозяйственность: поморозили картошку, окаянные. Бригадир разразился в ответ целой речью. «Я тут, что ли, виноват? — оправдывался он. — Чем я буду ее перебирать, если людей нет? Вот и Алешка-то сбег, — тут он ввернул заковыристое словцо, — на пенсионерах одних выезжаем. Вы, тетка Лида, выручайте, приходите с дядей Колей, а то — совсем труба! В прошлом году под снегом картошку оставили, нынче увезти не успели, подморозили... А сейчас на Жуковом поле, — видели? — лен стоит на корню. Когда снег выпадет, зачешутся. А сейчас никому не надо!»

— А ты на что посажен? — возмутилась Лидия. Раскрасневшееся после рюмки, сморщенное ее лицо сейчас напоминало вареную свеклу, только что вынутую из чугуна. Еще минута — и бригадир услышал бы нечто ехидное и оскорбительное для себя. Он жил во вражде с Устиньиной подругой и за долгое время ссор хорошо изучил ее характер. Поэтому он решительно пнул ногой дверь и с порога уже прокричал:

— Так вы пойдете, али не пойдете? Приходите! А то смотрите, трактора зимой ни за сеном, ни за дровами не дам!

И, высунув голову из двери по направлению к Лидии, добавил:

— На что я посажен? Так директор и без меня видит каждый день, что лен-то гниет!

Прокричав еще что-то, уже с мосту, он в полумраке уронил ведро, выругался, и его серый заячий треух мелькнул под окном.

Подруги еще посидели, вяло схлебнули с блюдечек по чашке крепкого чаю. Обе чувствовали в голове и во всем теле дремоту. Без вдохновения Лидия поведала о преступных связях бригадира с завпочтой. Но прозвучала эта история обыденно-скучновато, без той особой соли, которая выделяла подругу Устиньи изо всех деревенских сплетниц.

Устинья плохо слушала новость. В другое время она подключились бы к разговору, посмаковала насчет «шастней», но сейчас ей больше всего хотелось лечь под толстое стеганое одеяло и уснуть. Но часы показывали три — пора было давать корове.

Лидия ушла со словами: «Дойду, что ли, до складу. Кого там Тимофей собрал? А ты колды забегай, а то не баско одной-то сидеть».

Управившись с коровой, Устинья пообедала грибами и молоком, разломила пирог (пекла Алешке с собой — не взял), но есть не хотелось, положила на залавок под полотенце. Вспомнила, что Алешка где-то оставил свитер и рубашку, нужно было постирать и выслать ему в Тулу. Нашла узелок, но стирать расхотелось, хотя боли в спине уже почти не чувствовалось, и ноги вроде бы отпустило.

Больше двадцати лет она жила без мужика. Да если правду говорить, с конца войны до самой его смерти проку от него было мало — без ног, изранен весь,голова страшно тряслась. Когда и припадки случались. А на ней были еще и детки: Нинка до войны родилась, Алешка был послевоенный. Трудно было жить Устинье, подчас совсем невмоготу. Но вот, поди ж ты: под старость она забыла трудност и. То ли слишком много пришлось их на ее век, то ли слишком просто смотрела она на людей и на всю свою жизнь. Где-то был другой мир, и люди там жили совсем не так, как тут, где-то были большие города, но все это знакомо было ей лишь по телевизору. Да и тел евизор она не любила смотреть, хотя в их деревне над каждой крышей торчали пауки антенн и вечерами все окна одевались в голубое сияние.

Она вспоминала о прошлом, прикорнув на печи, и вскоре уснула. Разбудил ее звон рукомойника. Солнце садилось, и по горке, по зеленой крашеной переборке ползали желтые пятна, отраженные большим кривым зеркалом в широком простенке.

Постоялец, учитель Альберт Иванович пришел из школы и теперь, готовясь перекусить, мыл руки. Его широкое татарское лицо, оправленное в черную густу ю шевелюру и такую же бороду, показалось под занавеской:

— Разбудил я вас, извините! Эта штуковина гремит, как колоколец на корове!

— Ничего, ничего. Погреться забралась, да и задремала... Лемон, мухи сдохнуть не могут! Жрут, ровно слепни!

— Тепло, вот и не спят.

Устинья сползла с печи и достала суп.

— У Алексея-то как настроение — всерьез и надолго из дома? Или только посмотреть, как люди живут? Да нет, если вкусит настоящей-то цивилизации, так на тракторе в ваше Семеновское не затащишь...

Альберт поудобней уселся за стол и замолчал. Устинья налила остатки из четушки и поставила перед учителем. У того брови удивленно поползли вверх.

— Это мы с Лидьей седни почали. Чтобы не выдохлась, накось. И ты ведь нас угощаешь, коли придется.

Ей нравился этот высокий чернявый парень. Второй год жил он у нее квартирантом, починил стиральную машину и радиоприемник, в начале сентября помог выкопать картошку, зимой колол и носил дрова, разгребал тропку к большой дороге и к колодцу. Очень любил старинные деревенские песни. На праздниках непременно подсядет к какой-нибудь старушке: спой да спой ему стародавнее, неслыханное. Подвыпившая старушка затянет протяжно:

Последний нынечный денечек
в семье родной гуляю я,
гуляют братья мои, сестры,
гуляет вся моя семья...

А он схватит салфетку со стола или лист бумаги и быстро-быстро запишет.

Родом Альберт откуда-то то ли из Тамбова, то ли из Омска. Попал сюда по распределению после института, отрабатывать. Живет одиноко, замкнуто, нечасто куда-нибудь выйдет, разве вечером дойдет до со седки-учительницы или до клуба.

В первый-то год он рьяно взялся за дело. Проводил беседы о международной жизни, открыл спортивную секцию, в художественной самодеятельности участвовал. А нынче вот начал с гулянок. Запрется в учительской вечером, магнитофон поставит, — вой и визг, как на шабаше у ведьм. Директор уже с ним беседовал. Видела Устинья: никак не приживается человек. И жалко ей было...

— А сколько починков кругом! Туда, в сторону Ляхова, как поедешь — Антоновка, Березняки, Разумовский, — рассказывала Устинья, севшая за стол под икону. — Лонись на сенокосе проходила мимо Разумовского, так и труб не осталось, а огороды березой заросли...

— Давно пора снести к черту все эти деревеньки и починки. Ведь бежит народ! Свезли бы эти хутора в одно место и сделали центральную совхозную усадьбу...

У них часто шли такие разговоры. В долгие осенние вечера, когда Устинья рубила капусту, а постоялец сидел рядом и уминал деревянным боталом в бачке изрезанные листья, завязывались у них бесконечные беседы о жизни дерев ни, о старопрежнем, о годах войны — обо всем, что хорошо помнила и знала Устинья. Говорила больше она, говорила, не философствуя, не делая совершенно никаких выводов из прожитого. Есть такая странная особенность у русского человека — длительно осыпать слушателя широким потоком однозначных слов, не допуская в этот поток какого-то отвлеченного, общего рассуждения.

— А как на Троицу съедутся отовсюду! Народу — бурун! Мужики поставят лошадей по домам и — в церковь. А Егорушка Соломщик уж во все колокола наярива т. Играл — прямо любота. А на другой день, — возбужденно продолжала Устинья (спина у нее совсем перестала болеть), — гуляют уже по всей деревне. Человек двадцать-тридцать — это уж в каждом доме. Парни лавки под огороды выносят, чтоб с девками сидеть...

— Ну, и драк было достаточно, — перебил ее Альберт. Он давно закончил трапезу и сидел теперь за столом бесцельно, крутил в руках стакан, в гранях которого поблескивали последние лучи солнца. Было видно, что ему сейчас скучно, но и встать просто так было как-то неудобно, и он делал вид, что внимательно слушает, а сам искал повод, чтобы уйти.

— Нет, батюшко, и драк было помене, — решительно возразила Устинья.

На мосту зашаркали, нашаривая скобу, и вскоре через порог перевалился мальчонка лет десяти. В полумраке он не заметил Устинью и, стоя на пороге и все еще держась за скобу, спросил:

— А где бабушка?

— Это кто это приехал? — удивилась Устинья. — Юрка! Откуда тебя лемон принес? Автобусом?

— Сегодня подморозило, приходил и утром, — подтвердил Альберт. — Ну, проходи, орел, что встал в дверях?.. Вы сегодня дверь не запирайте, тетя Устинья, в кино собираюсь.

— Ой, лучше ты, парень, стукни. А то вдруг какой пьяный полезет!

Альберт собрался и ушел.

— Снимай оболочку-то. Что это ты задумал приехать?

— По дрожжи, да мамка велела поросенка купить, — бросая пальтишко и шапку на стул, ответил Юрка.

— Вот, Нинка, лемон. Что б раньше сказать, я бы заказала с Лидьей... Не разбрасывай, не разбрасывай, вон гвоздей хватает, вешай на любой.

— Я сегодня, бабушка, поеду домой.

— На обратном, что ли? И не погостишь, что ли? Да хоть поешь чего! Вон творогу, молока.

Устинья достала корчагу с творогом.

— А сметана есть?

— Нет сметаны: всю на масло избила.

Юрка принялся за творог. Дела сегодняшнего дня подходили к концу, Устинье оставалось подоить и напоить корову.

За окнами быстро темнело, вспыхнули желтые лампочки на столбах, окна дома напротив осветились,и через широкие стекла (занавесок не было) Устинья увидела освещенный стол. У стола под люстрой сидел Альберт и, размахивая руками, что-то говорил маленькой светловолосой девочке, учительнице, сидевшей на диване. Та сделала серьезное лицо и внимательно слушала. Потом встала и завесила окно шалью.

— Все говорят, говорят, — вздохнула Устинья. — А чего говорить? Женились бы лучше! Да не женится он, тут не останется.

В хлеву корова охлестнула ей глаз. Устинья раскричалась на весь проулок, настукала кулаком корове в шею, а потом перед зеркалом до слез натерла веко, чтоб соринка вышла. Боль не проходила. Юрка тоже не усмотрел ничего в бабушкином глазу и уехал, сопутствуемый наставлением: «Кутузку-то не потеряй, ребенок!» Он зажал узелок крепко в руках и обещал не терять.

В семь часов в доме было уже тихо и темно. Только по скатерти стола и по белому боку печи длинным лезвием пролегла яркая полоса света от фонаря, что висел над самым окном. Где-то на огородах надрывно рычал трактор, (должно быть, соседу Николаю привезли дрова); и еше слышно было, как иногда с сухим шорохом за обоями проносились мыши. Жили они тут давно, лет двадцать ил и более, с тех самых пор, как крыша потекла и угол загнил. Между трухлявой стеной и шпалерами образовалось свободное пространство, где рождались и рождались новые поколения мышей. Когда дом осел, мышиная туннель увеличилась, и теперь Устинье каждую ночь сл ышался шорох лапок о высохшие обои, тонкое попискивание не смолкало до утра. Она давно уже примирилась с таким соседством и даже лучше засыпала под шорох и писк, но сейчас веселая беготня грызунов мучила ее. Ей казалось, что глаз болит сильнее потому, что нет ей покоя.

Она попробовала укрыться с головой одеялом, постучала вален ком в стену, проклиная ленивого кота, который, как на грех, за пропастился где-то. Но кот не шел, вернулся Альберт, тут же включил приемник. Ей не понравилось сейчас, что он так поздно вернулся и включил свою музыку, хотя раньше она никогда на него не обижалась. Даже, наоборот, говорила в ответ на его извинения: «Что ты, господи, включай! Я ничего не чую! Включай хошь как громко!» Теперь же обиделась и подумала нехорошо о постояльце. Потом музыка смолкла, и она упала в темную яму.

Уже под утро ей приснилось, что Алешка устроился на завод и собирается жениться; она видела самою себя держащей маленькую свинку, за свинкой приехал Петр, зять, он был весел, смеялся, крутил смоляной кл ок у уха и приговаривал: «Мы переезжаем к тебе, мамаша. Скоро переезжаем к тебе...» И сама Устинья была весела, и собирала обед на стол.

Она открыла глаза, поглядела на мир — и вновь закрыла, продолжая видеть внутренним взором только что увиденное. Потом снова открыла. Кругом все было солнечно и ясно. За стеклом кололось от чистоты голубое небо. В огороде топилась баня, густой серый дым столбом уходил вверх. «А все ж таки можно и еще пожить!» — сонно подумала Устинья и улыбнулась.

Под утро выпал первый в этой осени снег.

ДОМ

Дом стоял на краю деревни. Рядом проходила проселочная дорога, а от нее — тропинка к реке. Неширокая, только ногами топтанная тропка, прижатая полем к тычиннику, тянулась вдоль всего длинного огорода и гуменника, прокладывалась по паш не каждый год заново, но направления никогда не меняла, упираясь всегда в одно и то же место высокого берега Неи.

Дом построили еще до войны, а когда мне было лет пять, подрубили, сменив нижние, подгнившие бревна. Отец вырезал красивые наличники, покрасил их голубой краской, и дом помолодел. Лишь старое серое крыльцо, бывшее как бы продолжением огромного, раза в два больше жилой части, сарая, говорило, сколько ему на самом деле лет.

Осваивать сложный, запутанный, непостижимый и пестрый мир я начал с изучения дома, его пыльных закоулков и темных углов, светлого чердака и прохладного подвала (по-нашему — потолка), голбца, таинственного и захламленного сеновала и огромного пространства самого сарая.

Дом мне казался основой, главной частью окружающей жизни, центром бытия, большим и загадочным, заполненным множеством необыкновенных вещей, которые существовали еще в том, не моем еще, старом мире. На потолке я как-то обнаружил желтый, приземистый, пузатый самовар, каких не встречал ранее; а еще — массивные, в черном деревянном корпусе, часы с фигурными бронзовыми стрелками и непонятными цифрами. Вверху на проволоке висели беличьи и заячьи шкурки.

Днем здесь было всегда светло. Свет проникал в широкую раму под коньком крыши. Зато как темно и прохладно становилось, когда я, исследуя дом, спускался в голбец или забирался через узенькую дверцу со стороны двора под мост, где, окутанные паутиной и покрытые бархатом пыли, стояли высокие, выше моего роста, бутыли с керосином в плетеных чехлах, пустые кадушки и старые санки. В этом полутемном сыром месте я играл в путешественника или партизана, зарывал в землю ящики с моим деревянным оружием, делал тайники и «засады на фрицев».

Но ничто не притягивало к себе так неудержимо, как многометровый сарай, вернее, верхняя его часть, что зовется сеновалом. Зимой сеном набивалась только его половина, а летом, когда душистого корма почти не оставалось, здесь устраивали полога — единственное и самое верное средство от многочисленных и разнокалиберных кровососущих. Вторая, ближняя к рундуку, половина всегда оставалась хранилищем нужных и ненужных вещей. Чего тут только не было! Как поднимешься по лесенке с рундука на сеновал, справа в полумраке увидишь длинный высокий ларь, где хрантся черная и белая мука. Рядом с ним — две кадки внушительных размеров. Одна наполовину набита спичками, вторая наполнена спекшейся, окаменелой солью (это остаток былого страха перед войной), чуть дальше — старинные жернова. Их мать иногда использует, если вдруг заканчивается мука, а в колхозе есть возможность получить зерно.

Слева от лестницы — наследство бабушки Александры. Ее давно нет в живых, а вот льномялки, теребилки, ручной ткацкий стан и еще что-то из той патриархальной крестьянской жизни, которую и представить-то трудно, — все в целости и сохранности, пригодное к работе, но не нужное и потому сваленное в одну кучу.

Если распахнуть широкие полотна ворот сеновала, то сразу станет светло и весело, и с высоты будут видны огородные грядки, старые яблони-дикарки, слева — вишневые деревья, справа, в конце огорода, — приземистая, с железной трубой, баня, а дальше — гуменники, васильковое колхозное поле, которое сбегает вниз, к реке, и сама река, сверкающая на солнце посередине и сереющая холодной сталью на противоположной стороне, ее изгибы и песчаные отмели, поросшие ивняком берега. А еще дальше — синеет сплошная стена леса: далеко-далеко — кажется, за сотни верст отсюда — он сливается с голубым небом.

Жилой дом делился на три части: куть — прихожая, переборки — кухня и половица, или передняя, то есть зало. За широкой русской печкой, на всегда теплой спине которой так приятно было отогреваться после долгих катаний с угора на январском морозе, за дощаной перегородкой находилась крошечная комната-спаленка с двумя кроватками и сундуком. В кути за внушительного размера столом мы собирались все вместе, трое взрослых и пять ребятишек, у никелированного аккуратного самовара во время вечернего чаепития. Взрослые, беседуя, еще сидели у самовара, а мы в передней строили из стульев

и табуреток какое-то сооружение, покрывали его старым байковым одеялом, забирались внутрь и, прижавшись друг к другу, рассказывали страшные истории...

Чем старше я становлюсь, тем чаще снится мне дом, где я появился на свет среди сена и соломы, под старыми бревенчатыми сводами крестьянского двора, под вздохи коровы, овечье блеяние и петушиные переклики, дом, где в семейном ладу и природной гармонии прошло мое детство — то под завывание февральской метели за прочными деревянными стенами, то под неповторимый, несмолкаемый стрекот неугомонных августовских кузнечиков, в те вечера, когда так не хотелось засыпать в домотканом пологу, на свежем пахучем сене.

Мне чаще и чаще снится дом, где я был счастлив своим великим и таким завораживающим, сладким незнанием этого огромного, неприютного и непонятного мира, от суеты и враждебности которого я был охраняем теплыми прочными стенами, как панцирем.

Каков сейчас ты, родной мой дом?

Жив ли? А если жив, то изменился, наверное, постарел, врос в землю. Липы, посаженные рядом с тобой отцом, и береза, которую мы когда-то, в раннем детстве, крохотную принесли из леса с братом, которого уже нет в живых, вымахали и летом шумят над тобой, а в сентябре осыпают твою старую крышу сухой желтой листвой.

А может, ничего этого и нет: ни дома, ни лип, ни березы? Как нет и того удивительно доброго времени, что называется детством...

Владимир Критский

В лесу цвести, в ночи мерцать

* * *

Строй поэзии — в сердце поэта!
Если жизнь его тянет на дно,
И поет он, и плачет про это.
И другого ему не дано.

Что он в сердце взволнованном носит —
То и в творчестве выразит он.
То, что хочет он, то, что он просит —
То и дарит ему Аполлон.

Бог не может поэта наставить
На достойный и праведный путь,
Бог не может поэта заставить
С недостойной дороги свернуть,

И не хочет, наверно... Роль бога
В нашем деле предельно проста.
Для поэта он делает много —
Он ему открывает уста.

Владимир Гаврилович Критский родился в 1943 году в деревне Горбатовке Горьковской области, в пятилетнем возрасте вместе с родителями переехал в г. Шую Ивановской области. В 1962 г. окончил Палехское художественное училище. После службы в армии работал в Шуе художником-оформителем, маляром, резчиком металла, кочегаром, землекопом, помощником мастера на текстильной фабрике, оператором на нефтебазе. В свободное время занимался живописью.

Сочинять стихи начал в армии, но лишь с 1996 года литературное творчество становится его постоянным занятием. В 2005 году вышла в свет первая книга В.Критского «Листья лопуха». В том же году он опубликовал в нашем журнале подборку стихотворений.

Живет в Шуе.

© Владимир Критский, 2006.

ЛЮПИН

Опять чиновник душит,
Разросся, как люпин.
— Спасите наши души! —
Мы скоро завопим.

Но хоть умри от ора —
Люпин пройти не даст.
Разросшаяся свора
Сплоченней, крепче нас.

* * *

Как баран на новые ворота,
Я гляжу на новые порядки.
Удивляюсь: видно, для кого-то
И они заманчивы и сладки.

Изумляюсь: видимо, кому-то
Хорошо чужой питаться кровью.
Совесть не грызет его уюта,
Не вредит покою и здоровью.

Поражаюсь: значит, существует
Сорт людей — безжалостных вампиров...
Этот сорт живет — и в ус не дует,
Для мильонов душ могилу вырыв!

КОНКУРЕНТ

Нам на всех не хватает России —
И процентов, и акций, и рент.
Прикарманивать деньги чужие
Мне мешает мой враг-конкурент.

Уж его я прищучу, иуду!
Уж я пулю ему припасу!
Будет гнить он в земле — а я буду
Пить шампанское, жрать колбасу!

Но и сам-то он — малый не промах,
И ему свой любимый живот
Так же дорог... Недаром в хоромах
Он таких же роскошных живет.

Если к смерти меня он присудит,
Вряд ли шкуру свою я спасу.
Он меня укокошит! Он будет
Пить шампанское, жрать колбасу!

* * *

Хочет отдыха дух, устает
В утомительных поисках хлеба.
Но когда этот миг настает —
Он как гром среди ясного неба!

В одиноком молчаньи души
Открываются древние хляби...
Не ходи туда, не вороши
Этот дух, суеверный и рабий!

* * *

Я на лодке с Дантом еду;
У чертей в аду
Время близится к обеду —
Вон несут еду!
Вон гремит их настоятель
Ложкой по котлу:
Поспешай, дружок-приятель,
Поскорей к столу!
Круче, чем в иных палатах,.
Будет нынче пир:
Вон от долларов проклятых
Лопнувший банкир!
А еще торгаш-иуда...
Ну-ка, вилкой в пах!
Что за лакомое блюдо —
Алчностью пропах!

ДЕЙСТВИЕ ЧИСТОТЕЛА

Головою бьешься бесполезною?
Не нужны ни сабля тут, ни палица.
Чистотелом смажь ее, болезную —
В два-три дня засохнет и отвалится.

То-то телу будет облегчение!
Пусть клюют ее, сухую, вороны!
Прекратится глупое верчение
Головы на все четыре стороны.

И займется радостное тулово
Делом новым и неутомительным:
Расцветет, окрепнет; из сутулого
Станет стройным, легким и стремительным.

В ликованье радостном, языческом
Будет так легко ему, комолому!
В переносном смысле — не в физическом —
Понесет свободно, гордо голову!

* * *

На березах листья медные —
Теплой осени дары.
Безобидные, безвредные
Топчут воздух комары.

Ветерок не тронет воздуха,
В роще тишь и благодать.
Пляшут милые без роздыха,
На меня им начихать.

Но приди я чуть поранее,
До Петрова с Павлом дня —
Эти страшные пирании
Обглодали бы меня!

ДУНЬКИ

Там, где сумрачно и глухо
Встанет ельник на пути,
Любит гриб «свиное ухо»
В изобилии расти.

Темен мир его колоний
И обширен... Но народ
Те грибы без церемоний
Просто «дуньками» зовет.

Есть грибы вкусней и краше,
Но и эти надо брать.
Их однажды власти наши
Запретили собирать.

Некий деятель науки
В них нашел какой-то вред.
Ну, а мы — корзины в руки,
И плевали на запрет.

Ну, какой там вред!.. Бывало,
Дунек тех сковорода
Всех накормит до отвала
Без труда и без вреда.

А в лесу их, — беззаботны,
От науки далеки, —
Исключительно охотно
Поедают червяки.

ДЕЗЕРТИР

Осеннему золоту в плен
Сдаюсь я, позорно бежав
С жестокого поля войны,
Где бьются друзья и враги
За злато.

Сбежал втихомолку, тайком,
Оставив друг друга тузить
Отважных и дерзких друзей
И подлых, коварных врагов —
Пусть бьются.

Откроется, знаю, для всех
Мое малодушье — и вот
Вздохнет укоризненно друг
И плюнет презрительно враг.
Позор мне!

С меня же — как с гуся вода...
Я прыгнул на велосипед,
Педали кручу и рулю
В свои золотые леса
За Тезой.

Там ждет меня мой капитал —
Березок разменная медь,
Червонцы багряных осин
И золото кленов и лип.
Ждет тихо.

Несметных сокровищ набрав,
До новой осенней поры
В сгораемом сейфе души
Сокрою я все, чем богат,
Чем жив я.

В БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЕ

Все еще от боли падая
В мир нездешний, в забытье,
Потихонечку из ада я
Возвращался в бытие.

Не живой еще, искусственный,
Слабо верящий, что жив,
Я ловил прекрасный, чувственный
К миру здешнему призыв.

К жизни деятельной, длительной
Был я снова воскрешен
Бескорыстной, обольстительной,
Совершеннейшей из жен.

* * *

Вновь зима... Кругом — епархия
Снега, валенок и сна.
В это время нам монархия
Абсолютная нужна.

По весне ж мы все пробудимся:
Где наш хлеба каравай?
Зашумим, на митинг сгрудимся —
Нам республику давай!

* * *

Не в Канаде, не в Аляске —
дома, в Шуе —
вьются хлопья в снежной пляске,
вьются всуе.

Проку нет от их круженья
никакого,
бесполезно их движенье,
бестолково.

Клубы снежные, густые
зря взрывают,
мысли праздные, пустые
вызывают.

Чую холод нехороший
по спине я,
жмусь я к стенке, от пороши
цепенея...

РАСЧИСТКА СНЕГА

Кто Слоновой Кости Брега
Безусловный патриот,
Красоту расчистки снега
Тот, конечно, не поймет.

Так, в невежестве невинном,
Он и будет прозябать.
Мы, славяне, ближе к финнам,
Финнам легче нас понять.

Знай кидаем дальше, выше
Беломрамора кубы...
А не то бы нас до крыши
Занесло бы, до трубы.

* * *

Розовы закаты
Зимних вечеров.
От снегов покаты
Крыши, клади дров.

Синими снегами
Всё занесено.
В красно-синей гамме
Зимнее окно.

Розовым играют
Запад и восток,
Вянут, умирают,
Как живой цветок.

Молча пялю око
В синей тишине.
И не одиноко,
И не грустно мне.

* * *

Забрехали собаки,
И опять тишина.
Вся деревня во мраке,
Высь над нею черна.

Свет в окошке нетленный —
Не у каждой избы.
То ли край мы вселенной,
То ли край мы судьбы...

СНЕГИРЬ

Алого мундира
Сила велика —
И за командира,
И за вожака
Признан он охотно...
Выстроившись в ряд,
Воробьи поротно
Перед ним стоят.

В новом этом войске
Грозный генерал
Держится по-свойски:
Топнул, наорал!
И, пройдясь отважно,
Брав, красив на вид,
Медленно и важно
Семечки лущит.

* * *

Со знаком минус
Мой капитал.
Вразнос, на вынос —
Все промотал.

Одни заботы —
Проклятый круг!
О, где ты, кто ты,
Мой верный друг?

Я на исходе
Плохого дня.
Один я в роде!
Согрей меня!

* * *

В глухом лесу, в заросшем, сорном
Углу родной моей земли,
В густой траве, над темным дерном
Весною ландыши цвели.

Сиял на мрачных косогорах
То ль белый жемчуг, то ль горох,
То ль звезд полночных майский ворох...
И я сдержал невольный вздох.

Лесной глуши не много ль чести?
На этот сказочный узор
В таком глухом и дальнем месте
Лишь мой порадуется взор!

Порой астроном в умной позе
Замрет... Но для его ли глаз
Звезда ночей почила в бозе,
А рядом новая зажглась?

Зачем мы, пачкаясь в чернилах,
Болтаем, пишем, порем дичь,
Умишком слабеньким не в силах
Простые таинства постичь?

Им не для нас дано от века
В лесу цвести, в ночи мерцать.
Их и без нас, без человека
Взор Бога будет созерцать.

Евгений Веселов

Молчаньем звуки сочтены

* * *

Оставлю время за спиной, —
ушедшего не жаль мне.
Я темной заслонен стеной.
как тайною скрижалью.
Себе соткал из тишины
я душу, — гром не грянет.
Молчаньем звуки сочтены, —
их строй на заднем плане
застыл недвижно: стражи тьмы.
Но вечны ль бастионы
посмертно стынущей зимы
на южном склоне?

* * *

Слетает ворон с ели обгорелой;
за горизонт ушла вчерашняя гроза,
уже невидимая, слышимая еле, —
и крылья расправляет стрекоза,
почуявшая солнечные выси,
вся в устремлении зависнуть над водой
в экстазе, о котором не помыслит
червь дождевой...

Евгений Константинович Веселов родился в Ярославле в 1958 году. Окончил общеобразовательную и музыкальную школы, работал штамповщиком, гофрировщиком, аппаратчиком, каландровщиком, контролером по приемке двигателей на ряде предприятий Ярославля. Учился на историко-филологическом факультете Ярославского педагогического института имени К. Ушинского, окончил заочное отделение строительного техникума. Десять лет трудился дворником в жилищно-коммунальном отделе Ярославского моторного завода.

Сочинять стихи начал в школьные годы, участник нескольких литературных объединений Ярославля. Стихи и рассказы публиковал в областных газетах. В 2002 году увидела свет его первая книга «Дни скитаний». В 2003 году опубликовал в нашем журнале подборку стихотворений.

Живет в Ярославле.

© Евгений Веселов, 2006.

АВГУСТОВСКАЯ ГРОЗА

Ты вошла, объятая стихией,
не остыв от бега под дождем.
За тобою вслед ворвался синий,
влажный вечер в онемевший дом.
В смехе электрического света
ты стояла, мокрая насквозь,
как богиня солнечного лета —
в нимбе позолоченных волос...

ВИДЕНЬЯ

Тяжелеют мысли, веки,
отсекая мир свершенный;
но не сны бегут — виденья,
словно кадры кинопленки.
Темнота... И я в вагоне
у окна, как в кинозале.
Удивляюсь: электричка?
Нет, вагон какой-то древний,
тряский, валкий, словно утка,
и клубы густого дыма
прижимаются к земле.

Сквозь окно смотрю — и вижу
не дома, не перелески,
но людей — их толпы, толпы
вдаль идут по редколесью.
Кто в треухе, кто в папахе,
кто-то в шляпе с круглым верхом;
женщины — в платках и шляпках.
Но не вижу я улыбок,
лишь печаль в глазах, сомненье.
Губы сомкнуты до скрипа,
бездыханные для слов.

Ветер! Ветер гнет деревья,
и ненастье бьет по лицам,
давит сыростью на плечи,
тяжелит подошвы грязью.
Но идут куда-то люди.
Видно, дней им светозарных
этим летом не досталось —
и они бредут за солнцем
к юго-западу, тропинки
проминая в мягкой глине
косогоров и дорог.

Как обвал — колесный грохот!
И меняется картина:
я теперь на параплане,
я парю над серой тучей
и разглядываю звезды.
Но, снижаясь к вязкой влаге,
вниз смотрю — и что же вижу?
Подо мною зыбкий город
тянет к туче иглы шпилей,
силуэты их размыты,
как сырая акварель.

Над рекой лечу. Каналов
различаю паутину
еле-еле... Дымный полог
мне картину замутняет,
бурой кляксой расползаясь
над жилищами людскими
и собором величавым;
он — всё та ж обитель Бога,
или стал музеем ныне?
Но не видно позолоты,
не слыхать колоколов...

Вдруг виденье исчезает —
и опять в своей постели
я растерянные межу
веки, темнотою силясь
удержать воспоминанья
тех видений, о которых
если спросят — что скажу я?
Может, это чья-то память?
Или кадры прежних жизней,
мною прожитых когда-то,
о которых я забыл...

* * *

Просветленный в дне вчерашнем,
мир вскипает белизною —
как черемуховый берег
за каймою черной пашни,
побеждая зимний морок.
Так рожденный свет земной
устремляется в глубины
широко раскрытых глаз
в предрассветную минуту,
чьи мгновения невинны
и единственны для нас...

* * *

Свой мозг я ощущаю подневольно.
Он ежится испуганно — котенок!
Как если б шерстку дыбил на морозе,
выщелкивая искорки снежинок
зубами острыми из собственного тела...

* * *

Не иссуши в глотке последнем
источник жизни, — ночь светла,
и упоительные бредни
сжигают души и тела.
Не отвергай судьбы причину,
когда слова нисходят в лесть —
мазок ложится на картину,
когда мазку причина есть.
Вновь меркнет ночь... В росе холодной
спешит к нам утро босиком
и свет рекою полноводной
переворачивает дом,
чтоб ты проснулась... Птичьи клики
нас к безоглядности зовут,
в мир несказанно-многоликий
на пять оставшихся минут...

* * *

Твои шаги легки, —
прозрачен воздух лета.
Ночная высота
задумчива, как тень
мелькнувшего крыла
на берегу рассвета
единственного дня,
когда цветет сирень
прощально и светло,
роняя звезды ало,
которые ладонь
открытую томят
увядшей красотой,
когда глаза устало —
бессонные — теперь
единственно глядят
во глубь себя самих...
И нет уже значенья
для сбывшегося дня:
того, что было — нет!
И лишь твои шаги
ухода — отреченья —
торопятся догнать
разбуженный рассвет...

* * *

За шагом шаг, стареем понемногу, —
и вызревает знание о том,
что душу мы свою оставим Богу,
как детям оставляем светлый дом.
А плоть сама себя отяжелит, —
и вот уже, с простыми письменами,
над нею тяжко высится гранит...
«Что в имени моем?!» — душа вдруг возопит.
Но так случилось — только именами
душа чужую память озарит.

* * *

Ночь года, декабрь
межит веки.
Усталое, бледное солнце, —
как шар биллиардный,
катящийся в лузу, —
упало в проулок
меж глыбами зданий...

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Владимир Рябой

Плаха возлюбленной моей

СЦЕНЫ ИЗ ВРЕМЕН ПЕТРА ВЕЛИКОГО

И земля-то спит,
И вода-то спит.
И по селам спят,
По деревням спят.
Одна баба не спит,
На моей коже сидит.
Мою кожу сушит,
Мою шерстку прядет,
Мое мясо варит.

Русский фольклор

Санкт-Петербург, Троицкая площадь Петропавловской крепости. Суббота, 14 марта 1719 года, 5 часов 50 минут утра.

Туманно и ветрено в столице. Но, несмотря на погоду и ранний час, на площади у деревянного эшафота толпятся люди.

И площадь, и близлежащие улицы имеют неприглядный вид и мало соответствуют представлению о столице государства, стремящейся стать европейским городом. На самой площади, на столбах с укрепленными на них колесами, догнивают тела и отрубленные головы осужденных по делу царевича Алексея, казненных еще в декабре прошлого года. И тут, и там

Владимир Иванович Рябой родился в 1953 году в г. Южно-Сахалинске, восемнадцать лет прожил вместе с родителями в Крыму. В 1972 году окончил Бахчисарайский строительный техникум, затем служил в армии. Некоторое время жил и работал в Ташкенте.

В 1975 году переехал на постоянное место жительство в г. Рыбинск, на родину матери. Работал на приборостроительном и судостроительном заводах инженером по строительству, технике безопасности, журналистом, был художественным руководителем Дома культуры «Вымпел».

Сотрудничал и работал в штате нескольких ярославских областных газет, редактировал рыбинские издания: газету «Согласие», журнал «Околица». Как журналист публиковался в ряде столичных изданий — журнале «Огонек», в «Новой газете», газете «Мир новостей».

Литературным творчеством занимается всю сознательную жизнь. Большая часть написанного не опубликована, однако, некоторые произведения печатались в журналах «Невский альманах», «Студенческий меридиан», «Русь». В 2005 году опубликовал в нашем журнале рассказ.

Автор-составитель книги «Имена на обелиске «Мемориала», соавтор книги «Нобели для России, Россия для Нобелей». Литературный сценарий В. Рябого «Именем чужой любви» лег в основу кинокартины, снятой на одной из студий «Мосфильма».

Живет в Рыбинске.

© Владимир Рябой, 2006.

валяются трупы павших от болезней животных, и это — невзирая на строгий указ царя, на выделение специальной бригады с повозками для уборки улиц. Повсюду — шалаши, в которых свезенные со всей страны работные людишки пережидают и лето, и осень, и зиму.

Толпа на площади — в большинстве своем бедный, «подлый» народ — выглядит зачумленной. Этой зимой город перенес несколько эпидемий. Физические страдания отпечатаны на лицах ожидающих очередной казни.

Несколько в стороне от основной массы людей стоят двое в гражданской одежде. Один повыше, он победнее одет, другой постарше и посолиднее. Стоят и разговаривают, оглядываясь по сторонам и прикрывая рты руками.

Говорит старший:

— Вот тебе, брат, самая диковинная забава у нас в столице: умерщвление детей Христовых — виновных и невинных. Государь наш любит эти забавы. И чтоб народу поболе было...ассамблея, по-своему. Таким макаром он народ наш просвещает. Считается, что по-другому мы в Европу никак не влезем. Вот забава, так забава...

— О чем ты, Ефима... Забав таких и у нас на Ярославщине вдосталь. У вас тут только злодеев поболе. И то ведь — свозят со всей Руси. Но и нам кое-чего остается. Столько ныне развелось лихих людей под Ярославлем да в пошехонских лесах — не пройти, не проехать. До того Петр Алексеевич рекрутчиной запугал народ, что молодые люди предпочитают записываться в разбойники, а не в армию. А будет при казни присутствовать сам-то государь?

— Будет, куда ж ему деться... Я ж тебе сказывал: сиделица приговоренная не из простых будет. Особа! Таких у вас не найти. Ну, увидишь сам. Да ты вот чего, старайся пореже именовать государя нашего по отечеству в разговорах...со мной даже. А уж тем паче — с другими. Не одобряется это. И вообще поменьше упоминай имя императора. Мало ли чего кому послышится.... Тут же заблажит кто-либо: «Слово и дело!» — и на дыбу. А доносчиков здесь хватает. Платят им хорошо.

— Это тоже нам ведомо. Недавно вот у нас пошехонца Барышникова повязали в шинке в Петровском. Услыхал он где-то, будто к Кронштоту подошли девяносто цесарских и шведских кораблей и требуют боя с царем. И еще будто — подавай им великого князя и каких-то там изменников. Вот он по пьянке и сболтнул про то первому встречному. А тот, Салтанов, возьми и окажись государевым человеком, на службе, значит. «Слово и дело!» — и поволок Барышникова в Пошехонь. Взяли там его под караул, учинили допрос в тайной канцелярии, заковали в кандалы и — в Санкт-Петербург. А здесь всыпали плетей только за одно упоминание имени великого князя Петра, сына убиенного в том годе царевича Алексея. Правда, потом выдали проездной лист до Пошехони, не бросили...но скажи, брат, а для чего ж называть государя без отчества? У нас таким макаром только священнослужителей да святых величают — по имени...

— То-то и оно — выходит, царь наш в святые захотел угодить. И столица ведь не зря названа Санкт-Петербург. Вроде как царь и ни при чем, раз речь идет о городе святого Петра...того, что с ключами у райских ворот стоит. А время пройдет — все забудут, как оно сначала было.

— Святость-то... ее куском хлеба не приманишь, палашом не вобьешь в человека. Святость дорогого стоит, ее заслужить надо...

— Так он и заслуживает. Всю Россию извел, всю в строй поставил...всем Европам что-то доказать хочет. Мол, ежели не богатством и ладом, так пушками да аркебузами. Не цените? значит, бояться будете...

— Смотри: кажись, едут!

По деревянному Троицкому мосту, отремонтированному в самом начале марта, застучали копыта, показались верховые, сопровождающие царскую карету. Народ на площади при виде царской свиты и кареты с литерой «П» на дверях не то чтобы обрадовался, а, скорее, оживился. «Где, где?» — побежало по головам.

Колонна миновала мост и вдруг свернула в сторону, противоположную от площади. «Куда, куда?..» — прокатилось по толпе.

— К австерии завернул, — тихо прокомментировал Ефим. — Чего это он с утра пораньше? А говорят — с утра не употребляет, только к обеду. Небывалое дело...

Карета закрывала стоящим на площади вид на маленькое, тщательно выбеленное здание.

— Это шинок, что ли? — спросил ярославец.

— Шинок...да только особый. Вина там только для тугих кошельков, прямо из Франции доставляют — рейнское, бургундское, коньяки.

— Ты-то сам бывал?

— Я-то? Бывал, по пьянке большой. Хотелось метрессам своим широту души русской показать. Да ну его, не к месту вспоминать...

— А мне вот уже не по карману сии услады. Как вздул наш «святой Петр» налоги р ади викторий своих, так и посыпались перышки с крыльев соколиных.

— Тяжко у вас там?

— Ежели уж у вас тут тяжко, что ж о глуши нашей говорить. Особливо деревня пострадала: где было прежде полсотни дворов, осталось полтора десятка, а где было сто — осталось полста. Да и Ярославлю-граду досталось: разруха и запустение такое, что и через полвека не поднять.

— Петру держава сильная потребна. Все ради нее тужится.

— Да кабы ради державы... Держава...держава... Получается, что народ подлый — это уже и не держава? А вымрет народ — что от державы останется, а? Хрен с маслом останется, вот что. Раньше, бывало, людишки в церквах утешение искали. Так он и церковь под себя подмял...Господа Бога скоро в денщики себе возьмет!

— Да тише ты, гром! Говорено ж было, прикрыв ай рот — пламя пышет. Враз охотники потушить найдутся...

Помолчав, старший добавляет:

— Прав ты, брат, прав...дальше некуда, вот как прав. И то сказать: ране-то кому служилые да служивые присягали? Отечеству своему да земле. А теперь — Государю-самодержцу. А сам говорит — служу, мол, на пользу Отечеству. Оно-то вроде и так — работает, как простой мужик. «Вот царь, так царь, — иные сказывают, — даром хлеба не ест, пуще мужика работает». А ради чего...

— Сюда, сюда, — зазвучали голоса в толпе, заставив наших героев приумолкнуть.

Как будто подгадав к приезду царя, на эшафот взошел палач-кнутмейстер — дюжий, краснорожий гвардеец в кафтане, с мечом в руках. Меч он положил на плаху и, став у края, высматривал кого-то в толпе, делая знаки стоящему рядом с солдатам и офицеру. Люди в толпе не видели перемигиваний палача и офицера, ибо стояли, повернув головы в сторону приближающейся царской команды. И когда офицер хлопал рукой по плечу очередного крепко сбитого, широкоплечего детину, тот вздрагивал и, видя перед собой спокойное и решительное лицо военного, которых в народе полагалось остерегаться, делал на всякий случай шаг назад. «Не бойсь, — говорил офицер, расплываясь в ухмылке, — «кобылой» поработаешь — на чарку заработаешь», — и утаскивал силком к эшафоту очередного выбранного.

Карета остановилась у самого края Троицкой площади. С облучка тут же соскочил солдат, открыл дверцу кареты, развернул ступеньки. Царь Петр, покряхтывая и тяжело дыша, спустился на землю, держась за поясницу. Глаза его, замутненные не то хме лем, не то хворью, слезились. О болезни царя знали многие, но все приближенные знали и помнили его строгий указ — не то чтобы молчать, но даже и не думать об этом, дабы не будоражить народ слухами.

Петр оглядел площадь и перекрестился с поклоном в сторону Троицкой церкви. Тут же многие в толпе стали креститься и бить поклоны. Толпа, словно загипнотизированная, следила за Петром, хотя многие стоящие здесь видели государя довольно часто. Когда же

он сделал шаг в сторону эшафота, все на площади, словно по кома нде, сделали дружный вздох и застыли с открытыми ртами. Все стояли и словно бы ждали от Петра всего, чего угодно: и чуда, и ужасного действия, и спасения, и погибели. На лицах было отпечатано и то, и другое, и третье, и четвертое.

От царской кареты к толпе засеменил грузноватый Меньшиков. Отбежав на расстояние, достаточное, чтобы не было слышно царю, он прикрикнул на стоящих на площади: «Сукины дети! Что стоите, рот раззявля? Мать вашу так, император Петр приехал, кто будет приветствовать?»

Толпа вознамерилась было прокричать «виват», но сглотнула первую часть слова, и получилось испуганно-задавленное: «А-а-а...»

Петр махнул рукой в сторону Меньшикова и неожиданно резво, широким шагом землемера пошел в направлении эшафота. «У-у-у!..» — махал кулаком Меньшиков перед носом офицеров. А те — эхом — проносили это «У-у-у!..» перед носом солдат.

Петр поднялся по скрипучим ступенькам на эшафот. Никто из стоящих рядом гвардейцев не приблизился к царю, знали — не любит он, когда ему прислуживают. Петр Алексеевич Романов никогда не играл «царя» — ни видом своим, ни манерами, ни речью. Царственность, особистость в нем были заложены изначально, от рождения. Если бы даже он не был уже при рождении своем объявлен наследником престола (не зря же ходили слухи, что он был рожден не от Алексея Михайловича), все равно его ожидало незаурядное будущее. Даже тех людей, которые заведомо не знали, кто перед ними, Петр принуждал к беспрекословному повиновению силой своего характера, своей личности. Рассказывали, что, бывая в молодых годах в Германии и Франции, он никогда не дожидался своей кареты, останавливал первую понравившуюся, без всяких объяснений и оправданий выкидывал пассажиров — и садился сам. Ему уступали и из уважения, и из боязни.

Поэтому ли, а может, еще и по какой другой, непонятной и необъяснимой причине толпа на площади была ныне всецело поглощена созерцанием человека, расхаживающего с видом мастерового по эшафоту, пробующего лезвие меча, сморкающегося и вытирающего руки о камзол. Казалось, что это он, а не кнутмейстер, будет приводить сейчас в исполнение приговор. Тем более что и к этому делу он был уже привычен — еще со времен стрелецких бунтов, когда он и сам головы рубил, и министров своих заставлял рубить.

Петр казался спокойным, но спокойствие это было обманчивым. Ибо, как выяснится позже, в этот день он не издаст ни одного указа, не напишет ни одного письма: не до того ему будет в тот день. Одно то обстоятельство, что он ждал появления приговоренных не в специально отведенной беседке, а на самом эшафоте, говорило о многом. Такого не было, пожалуй, со времен казни стрельцов.

Тогда ненависть и жажда мести заставили его занять место рядом с палачом. Он знал, что не подобает государю опускаться до уровня человека мстящего, а не карающего по закону, по справедливости — но не мог ничего с собой поделать. Стрельцы первыми заставили его пройти через подобное унижение. Второй раз испытать чувство раскаяния из-за неподобающих ему манер, чувств и мыслей он уже не боялся. Но то были стрельцы, то были бунтовщики — угроза жизни царя и угроза отечеству...

Что же заставило Петра взойти на эшафот на этот раз?

В семь часов утра подул сильный ветер с Ладоги. Туман стал быстро рассеиваться, предметы приобрели большую четкость и резкость. В этот момент из Петровских ворот крепости показался конвой.

В центре шли трое, но внимание стоящих на площади целиком переключилось с Петра на особу, шедшую впереди. То же самое напряженное молчание овладело толпой, то же оцепенение. Но не потому, что все уже знали: это идет тюремная сиделица, умертвившая троих своих детей. К подобным злодействам в столице привыкли, ибо, несмотря на

строгие указы царя, преступность в граде Святого Петра не уменьшалась, а увеличивалась.

Удивление, если не ошеломление присутствующих, вызвал вид осужденной. Между солдатами тюремной охраны шла молодая женщина в белом, как снег, по -летнему легком шелковом платье, отороченном черными лентами. Она шла, словно вырастая из тумана, он клубился вокруг нее, таял и пропадал. Шла, с трудом переставляя ноги после долгого сидения в тюремной камере, после бессонных ночей, проведенных в страхе и переживаниях, после пыток и допросов.

Ее лицо, несколько исхудавшее и изможденное, вместе с тем сохранило следы неповторимой красоты, глаза были полны раскаяния — и ужаса перед тем, что ей предстоит испытать. Но кроме чувства растерянности и словно бы недоумения по поводу всего происходящего, в ее глазах стояла мольба о помощи. И это никак не вязалось со слухами о закоренелой преступнице.

Еще полчаса тому назад толпа была захвачена и покорена сил ой личности Петра, абсолютом его воли и своеволия. А теперь она, сама не понимая, этого, была пленена бьющей в глаза покорностью и бессилием осужденной на казнь. Но еще больше — удивлена некоей ее потусторонностью, разительным несоответствием всей окруж ающей обстановке. Дело было не только в белых одеждах осужденной, но, скорее, в самом ее облике, в выражении глаз, походке.

Многие в толпе даже подумали, что эта женщина, сопровождаемая конвойными, никакого отношения к готовящейся казни не имеет. Но кандал ы на ее руках и ногах доказывали обратное.

— Вот она, — тихо, каким-то завороженным голосом прошелестел Ефим, — та самая Марья...

— И много при дворе таких?

— Красивых девок много, а такая одна. Уж на что хороша была Анна Монс, или та же Матрена Балк, или Анна Крамер...но Марья лучше.

— Оно понятно. Те чужеземки, а эта своя. Наши девки в красивости вряд ли кому уступят, это ведется еще со времен Анны Ярославны, королевы французской...

— Да эта тоже наша, наполовину. Так -то ее величают Мария Гаментова, а к то-то уже называет и Хомутовой — так ловчее. Но кровь в ней не только русская. Говорят, корни ее в Скотландии зарыты, Гамильтоны ее предки. Еще при Иване Грозном кто -то из рода этого переметнулся сюда, спасаясь от гнева королевского. Так и осели тут.

— Царь-то наш любит иноземщину всякую... И девок тоже.

— Тут дело не в кровях. Любовь, говорят, зла...вишь, какие почести ей царь оказывает. Сам прислуживать будет.

— Мнится мне, она с большой бы радостью отказалась от них, если бы можно было.

— Знамо дело. Уже лучше быть забытою и презренною, как Анна Монс, прежняя любовь государя, чем незабвенною...в таком роде, как Марья.

— Незабвенною кем?

— Известно кем...государем-императором... так его в европах величают.

— Иди ты...

— Вот тебе и иди. Царь-император часто на экзекуции ходит? Чай, не ассамблея, не прием гостей. Давно уже говорят: провинилась эта девка не столько перед Богом и людьми, сколько перед царем. Амуры были у них...

— Мало ли у царей метресс. Всех не исказнишь

— Эта — не все.

— Да, уж точно. Глаза так в душу и лезут, тревожат. Первый раз ее вижу, а вот встреться на улице и помани она за собой — все бы забыл...

— И то верно: как омуты...

— Однако, Ефима, ведь тяжкий это грех — детоубийство. Знакомый купец из Рыбной слободы мне сказывал: на той неделе у них военный чин по пьяной горячке запорол сына

своего за ослушание, так на него священник епитимью наложил — вечно замаливать грех свой перед Господом. А здесь...

— То — своего, а то — незаконнорожденного, есть разность. А потом: смотря кто провинился, мужик или баба. Разность большая. Допустим, муж жену убил — или жена мужа. Бабья жизнь вполовину мужеской ценится, или и того менее. Вот у нас о том годе одна знатная особа в сговоре со служанкой, да в угоду полюбовнику, порешила мужа своего. Так ее закопали тут вот, на площади, по плечи. В ноябре дело было. Рядом поставили плаху, на ней отрубили голову прислужнице. Пять дней в земле эта особа мучалась, и еще бы дня три жила, да бродячие собаки ее всю обгрызли. Пожалели потом ее люди, притоптали землю вкруг тела. Слава Богу — задохлась быстро...

Трое осужденных — молодая женщина, старик и старуха — позвякивая кандалами, поднялись на эшафот. Гвардеец молотком и зубилом обрубил цепи на руках и ногах, заставив старых людей. стонать от боли. Молодая женщина перенесла эту процедуру на удивление стойко.

Петр, внимательно следивший за происходившим, подошел к Марье и знаком руки велел палачу, секретарю и осужденным старикам отойти подальше.

Все ждали, что государь, как это уже не раз бывало, начнет громко поносить и оскорблять приговоренную. Но он, стоял вполоборота к ней и чуть наклонив голову, чтобы не слышно было окружающим, но не нарушая при этом своей естественной царственной осанки, заговорил:

— Что, Марья, в ассамблею нарядилась?

Осужденная вздрогнула, и некоторое время не могла произнести ни слова. То ли холод, то ли страх сотрясали ее тело. Наконец, она справилась с волнением:

— Нет, Ваше Величество, казнить меня будут.

— А, ну-ну... Не холодно в платьице?

— Я терпеливая, вы же знаете.

Народ вокруг эшафота напряженно вслушивался, пытаясь понять, о чем говорят на эшафоте. Но только придворный столяр Фоециус со своим никому в то время не известным даром читать по губам понял, о чем говорили царь Петр и Мария Гаментова. С его-то слов вся эта история с эшафотом и стала известна Гельбиху, тайному советнику при саксонском посольстве в Петербурге, а уж оттуда дошла и до наших дней.

— Знаю, Марьюшка, знаю. Денщика нашего Ивана Орлова, любовника своего, и под пыткой не выдала. Сколько тебе пыток было?

— Три, Ваше Величество.

— А ударов кнута сколько?

— Пятнадцать, Ваше Величество,

— Дюжие мужики уже после 5 ударов в штаны мочатся. Выкладывают все, что было и чего не было, от Адама и доныне. А ты что же — даже не описалась?

— Описалась, Ваше Величество, даже три раза.

— И все же Ивашку уберегла от гнева нашего.

— Невинен он, государь, не ведал он про злодеяния мои.

— А вот он тебя сразу же выдал, при одном токмо виде пыточной камеры.

— Слабый он...

— Не то говоришь, Марья. Не в слабости дело. А в страхе перед Господом нашим и в преданности государю своему, а значит — державе своей. Грех мы еще можем простить. Но лукавство и злонамеренность по отношению к государю и отечеству не прощаем. Слабый... А ты, выходит, духом крепка? Вот и показала бы крепость духа — доложила бы, что у него в голове, что в сердце, и какие дела его — глядишь бы, мы и помиловали тебя... Ну!

Тишина повисла в воздухе. Даже ветер, шнырявший по переулкам и площадям, улегся на мостовую. И толпа опять словно задохнулась, услышав это царское «ну» и увидев, как взгляд Петра пробежал по рядам, словно бы это «ну» относилось и к стоящим на площади.

Ветер трепал пышные русые волосы приговоренной. Она стояла на эшафоте — такая же стройная и прямая, как и царь — и потирала одной рукой другую, пытаясь согреться. А на нее смотрели сотни глаз, смотрели так, словно понимали: в эту минуту решается что-то очень важное — то ли для осужденной, то ли для Петра Великого, то ли для всего народа и всей страны. Суровые, измученные болезнями и физическими нагрузками люди в пестрых одеждах напряженно смотрели в глаза стоящей на эшафоте.

— Невинен он, — втянула в себя слова Марья. Голос ее прозвучал не громче шороха мыши, шелеста книжных страниц. — Не ведал он...

Петр нахмурился.

— Ты что же, оберегаешь его, следуя нашей христианской морали? Али еще как? Может, по глупости своей?

— Люб он мне, — призналась Марья, чем сильно озадачила царя.

— Ты, убивица детей своих, блудившая с целым миром — с Меньшиковым, и с самим царем, хочешь сказать, что с Орловым жила не блудом, но по-людски, в любви и сердечности?

Марья не отвечала.

— Может, ты меня чураться стала, когда Ивашка тебя приманил?

Марья молчала.

— Люб... — повторил Петр. — Царица Екатерина Алексеевна мне тоже люба. Но это плотская любовь, любовь низкая, ради природы нашей. Но только любовь к отечеству своему угодна Богу и достойна всяческого одобрения. Ради любви к отечеству я своего сына не пожалел. И если потребно будет — свою жизнь не пожалею!

Марья смотрела на него непонимающим взглядом.

— Мне за него жизни лишиться не зазорно...Государь, разве ж я виновна в этом?

Она заплакала и тут же испугалась открытости своих чувств.

Теперь уже Петр смотрел на нее непонимающим взглядом. Подошел к секретарю и палачу, что-то сказал одному, другому, вернулся к Марье и, склонив голову, глядя своим тяжелым, ужасным взглядом ей прямо в глаза, спросил:

— Скажи, какой из трех, убиенных тобой, был наш сын? Али все три?

— Государь, — голос ее был тоньше нити, — вы же сами говорили — такие дети — выблядки...

— Дура ты, Марья! Запомни — государевы дети не могут быть выблядками... Голова, голова, кабы ты не была так красива, давно б отрубить тебя велел... А могла бы стать императрицей...право слово, могла!

Она упала на колени и протянула к нему руки:

— Государь, прости меня! Помилуй меня, Государь!

Но он уже отошел на другой край эшафота и сделал знак секретарю и палачу.

Секретарь стал у края эшафота и начал выкрикивать резкие, отрывистые фразы приговора: «Девка Марья Гаментова, да баба Катерина, да муж ее Василий Семенов. Петр Алексеевич, Всея Великия, и Малыя, и Белыя России Самодержец, указал за твою, Марья, вину, что ты жила блудно и была от того брюхата трижды и двух ребенков лекарством из себя вытравила, а третьего родила и удавила и отбросила, в чем ты с розыском винилась, за такое душегубство — казнить смертью.

А тебе, бабе Катерине, и тебе, Василию Семенову, что о последнем ее ребенке, как она, Марья, родила и удавила, видели и, по ее прошению, этого ребенка выбросили в Летний сад и о том не донесли и, тем самым, сделавшись сообщниками, — вместо смертной казни учинить наказание: бить кнутом и сослать в Сибирь на десять лет».

Мария Гаментова молилась, стоя на коленях.

Петр в третий раз подошел к ней, поднял с колен, поцеловал в губы и теперь уже громко и отчетливо произнес:

— Не нарушая божественных и государственных законов, я не могу спасти тебя от смерти. Итак, прими казнь и верь, что Бог простит тебя в грехах твоих, помолись только Ему с раскаяньем и верой.

Палач связал веревкой руки за ее спиной, помог встать на колени. Взял ладонями ее голову; повернул, аккуратно положил на плаху, освободил шею от длинных волос, размахнулся — и вместе с ударом топора стоящие на площади услышали голос: «Вернусь....»

Петр подождал, пока прекратило биться в конвульсиях тело казненной, пока не кончилась экзекуция слуг фрейлины Гаментовой, сопровождавшаяся воплями и стонами, покуда их голые тела, взгроможденные на могучие спины «кобыл» из толпы, хлестали кнутами, потом подошел к лежащей рядом с плахой голове, поднял ее за волосы — и эту голову, еще истекающую кровью, вновь поцеловал в губы.

Потом, как заправский анатом, стал показывать толпе, тыча пальцем, артерии и жилы, объясняя, как они называются на медицинском языке.

— Что же это? — прошептал ярославец, холодея, — живых он любит или мертвых?

— И мертвых тоже, — сказал Ефим также шепотом. — Известно доподлинно: в Голландии, в анатомическом театре, целовал труп ребенка, а свиту свою, испугавшуюся до смерти только вида этого, тут же, смеясь, заставлял кусать труп убиенного...

В этот момент голова в руках государя, которую он чуть повернул набок, чтобы лучше было видно публике сонную артерию, вдруг открыла глаза. И толпа, молчавшая до сих пор, обрела голос: завопила и зарыдала. Какая-то женщина с перекошенным лицом и бессмысленно моргающими глазами, прорвавшись сквозь цепь солдат, кричала на всю площадь: «Вернулась, вернулась душенька ее!.. Знамение это, знамение!..»

Женщина упала на землю, корчась, визжала, пищала, стонала, в голосе ее был слышен и собачий лай, и лягушачье кваканье.

Петр, не обращая внимания ни на беснующуюся толпу, ни на кликушу, пальцами закрыл глаза казненной и сказал секретарю:

— Передай в кунсткамеру, пусть хранят...

15 марта 1720 года царь отдыхал в Летнем дворце. Доступ к государю всегда был легким. И в этот раз стражники, охранявшие вход в опочивальню, ушли с поста, чтобы помочь перетащить новую мебель, привезенную во дворец.

Никто не видел, как в дверь вошел молодой человек в военной форме. Он приблизился к царскому ложу, вытащил из-за пояса мушкет и, тщательно прицелившись в голову царя, нажал спусковой крючок. Оружие клацнуло, но выстрела не последовало.

Злоумышленник перекрестился, вытер пот со лба и снова взвел курок. Снова клацнул мушкет, и снова осечка. И в третий раз — то же самое.

Тогда, чрезвычайно пораженный случившимся, злодей тронул за плечо спящего. Царь со сна, с похмелья, сначала осерчал, думая, что перед ним стоит очередной челобитчик, которых он велел к нему не допускать, а отправлять в канцелярию и коллегии. Потом, когда незваный гость признался в своем замысле, удивился, но добавил, что такое совпадение не случайно.

А потом вдруг и вовсе развеселился, согласившись с покушавшимся на свою жизнь:

— Знамо дело, на все есть Божий промысел. Дело наше и старания наши угодны Господу. Так было в пору нашей молодости, при стрельцах, так есть и сейчас, так будет вечно. А кто говорит о делах наших, как о неугодных Богу, те будут посрамлены.

И велел отпустить покушавшегося, которого воспринял как представителя высших сил, посланного, дабы продемонстрировать всему миру его, Петра Великого, богоизбранность.

Так свидетельствуют исторические документы.

Валерия Ступенкова

Я знаю, как тонут

* * *

Я знаю, как тонут: прыжок, удар
И — синяя пустота...
Умение плавать — увы, не дар,
А надобность. Я не та,
Кто плавать умеет. Но я плыву,
Сражаюсь с потоком вод.
Я знаю, как тонут. И наяву
Кто тонет — тот не живет.

* * *

Какая безумная встреча!
Уверена: ты мне не рад.
И рот твой тоской искалечен,
И искры в глазах не горят.
Ну, с кем ты? И где ты? И как ты?
Обида — в душе ль, на лице ль...

Да, врезаться в память хоть как-то —
Не самая лучшая цель.

Валерия Романовна Ступенкова родилась в 1987 году в Иванове в семье врачей. Окончила среднюю школу с углубленным изучением английского языка, посещала занятия литературного объединения «Основа» при Ивановской писательской организации. Студентка первого курса факультета романо-германской филологии Ивановского Государственного университета.

Стихи пишет с детских лет. Публиковалась в областной периодике и коллективных сборниках. Неоднократный победитель городского и областного литературных конкурсов 2003 -2004 гг. В 2004 году в ивановском издательстве «Талка» вышла в свет ее первая книга «Ветер в лицо». В 2005 году опубликовала в нашем журнале подборку стихотворений.
Живет в Иванове.

© Валерия Ступенкова, 2006.

ОСТАНОВИ МЕНЯ

Останови меня на полуслове.
Мой идеал, ты стал почти условен,
Мой идеал, ты стал совсем чужим.
Отдай мне всё, что нужно и не нужно —
И песню, что звучит в устах натужно,
И мир, где бездыханно мы лежим.
Останови меня! В моей ладони
Кораблик наших хрупких судеб тонет.
Смотри: расколот!.. сел на скуки риф!..
Останови! Тебе ли неизвестно,
Что все — от мига до последней песни —
Могу сломать я, лишь договорив.

МНЕ СНИЛИСЬ ВОЛКИ

Мне снились волки: в воздухе ночном
Звенела пыль рассыпчатого снега,
Вздыхало море под прозрачным льдом,
Стонала ель — уставшая калека.
Мне снились сны: и звезд тревожный свет,
И горы, что мерцали мне из пыли,
И след...
— Ты точно видела их?
— Нет...
Но кажется, что волки где-то были.

НЕ

Я тебя не люблю...
Это мантра, что ли?
Ты читаешь ее?
Мне хотелось знать бы.
Если веришь в смерть
от страха и боли —
Укради меня до
нереальной свадьбы
С окровавленным небом,
спалившим кожу...
Я тебя не люблю —
ни при чем роман твой!
Я тебя не люблю.
Ты, конечно, тоже.
Подавился б ты
этой глупой мантрой!

* * *

Не могу я простить. Нечем.
Ни любви, ни души — пусто.
Жертва снов и твоей грусти,
Всё брала на свои плечи.
Не могу я простить. Больно
Оставаться с тобой рядом.
А ведь злости была рада
И разрядам твоих молний.
Не могу я простить. Слишком
Ты мой мир на корню рушишь!
Погубили мою душу
Твоего не-огня вспышки.
Одиночество всех лечит.
Я забыла, каков воздух
Без тебя. Не вернусь, поздно.
Не могу я простить. Нечем.

КАМНИ

Мы кидаем камни в это море,
Чтобы моря больше не осталось.
Не кричим, не слушаем, не спорим —
Мы не знаем, что такое жалость.
Мы кидаем камни. Мы устали,
Мы забыли все морские песни.
Наши души — из песка и стали,
Нам вода и соль не интересны.
Мы кидаем камни не из злобы,
Не из мести и не из печали.
Мы кидаем камни в море — чтобы
Морем счастья нас не искушали.

* * *

Вот видишь... А ты говорил, что мы будем вечно,
Что если уйдем — то вместе, к другому свету...
Ты помнишь, как было? Как гнал ты ко мне по встречной?
Теперь на движенья навеки наложим вето.
Ты помнишь, что ты говорил: мы друг другу пара,
Что мы — половины, а вместе — навек едины?
Теперь мы друг другу заноза-расплата-кара,
А наши сердца превратились в снега и льдины.
Вот видишь! А ты говорил: никуда не деться
От рока, судьбы...и прощально сжимал мне руки.
Ты знаешь: любовь — не такое уж это детство,
Скорее — плохое лекарство от взрослой скуки.

* * *

Повесь колокольчик в саду, повесь —
Пусть радует взор и слух.
Я слышала: в мире ходила весть,
Что умер один из двух.
Я слышала: «Черт с ним! И с неба вон,
И здесь никому не брат».
Его провожал колокольный звон
До самых последних врат.
Я видела: ветер свечу задул —
И пасмурно стало днем.
Повесь колокольчик в своем саду —
Пусть память хранит о нем.

* * *

Трамваи не ходят и ноги не ходят.
Опять одеваюсь, как ты — по погоде,
И взгляд, темнотой успокоенный вроде,
Искрится, как рельсовый стык.
Наш глупый разлад — он, увы, не случаен.
Опять меня кто-то с трамвая встречает.
Гудки телефонные — вскриками чаек:
Твой голос далек и дик.
Неужто мне кто-то роднее и ближе?
Люблю я тебя? Иль уже ненавижу?
Нам нужно расстаться и как-нибудь выжить,
Вдвоем мы сойдем с ума.
Заплакать пыталась — лишь дрогнули плечи.
Ни треп, ни стихи, ни подушки не лечат.
Осталась надежда: что нынче под вечер
Я не позвоню сама.

Я НЕ ВТЯНУСЬ

Я не втянусь, обещаю. Я лишь смотрю,
Лишь наблюдаю, вникаю и размышляю.
Пес третий месяц подходит к календарю,
Лает на числа. И воплями вторит лаю.
Числа все те же: у нас загостил июнь,
Шорты и майки, кроссовки под табуретом...
Да, этот дождь за окошком уже не юн,
Да, эта грустная осень — уже не лето.
Я это знаю, не стоит напоминать.
Правда, какой бы она ни была — не лечит.
...Где-то в начале июня твоя кровать
Нам не казалась единственным местом встречи.

СЕКРЕТ

Я знаю, что ты прячешь от людей...
Но не пугайся: тайну не раскрою.
А чтобы ты навеки был спокоен —
Я утоплюсь в колодезной воде.
Потом, в траве кузнечиком звеня,
Тебя всю жизнь преследовать я буду...
Своей любви ко мне простое чудо
Ты никуда не спрячешь от меня.

* * *

Ты в обвиненьях своих так жалок!
Вот оступился, запнулся: «Блин...»
Да, я поклонница Сандры Баллок,
Да, я люблю мелодрамный сплин.
Да, я рыдаю над каждой фразой,
Жду, что добро пересилит зло...
Вот со счастливым концом ни разу
Мне почему-то не повезло.

* * *

За гранью фантазии кто-то из нас погиб...
Прошу: вспоминай меня реже. Так проще, проще!
Ты добрый — не я, со своею душонкой тощей,
Ты сильный, ты вынесешь этот крутой изгиб.
Что память! Немая вода, и по ней — круги...
Ты справишься, знаю! Во имя меня и ночи,
Оставь меня в памяти только созвездьем строчек!
За гранью фантазии кто-то из нас погиб.

* * *

Здесь на каждое «да» — указательно-смутное «но»,
Здесь на каждое «нет» ставят штамп фиолетовой тушью.
Хлопнет дверь, кто-то выйдет, а кто и куда — все равно,
Все заботы приводят к проблемам, к тоске и удушью.

Здесь не смотрят в глаза, здесь не слышат отчаянных слов.
Здесь никак. Здесь немного противно и капельку скушно.
Здесь совсем не холодная ложь. И совсем не любовь,
И совсем не вражда. И не правда совсем. Равнодушье.

* * *

Ты скажешь: стихи никого не спасут от жажды,
Они никого не излечат от старых грез,
От снов, от болезней, от страшной судьбы. Однажды
Они нас заставят идти по дороге врозь.
Они рождены окровавленной страхом ленью,
В них холод забвенья бесстрастной рукой простерт.

Я буду стихи вырезать на сухих поленьях,
Чтоб было всегда, из чего развести костер.

Олег Горшков

Росчерк ветвей

ПАМЯТИ ОТЦА

Расстрижены ветром просторы.
Обрезками неба в лицо
Швыряется осень. И город,
Пустеющий, дышит свинцом.
Мне холодно, папа, мне грустно,
Мне слышится скрипка твоя.
В смычке очумелом — безумство,
Летучий смычок обуян
Слепой, искушающей страстью
Намешанных густо кровей,
И предощущеньем несчастья,
Предчувствием смерти твоей.
Как сбивчива, папа, и колка
Механика в левом боку.
Она и меня втихомолку
Прихватит, собьет на бегу.
Звук скрипки становится солон,
Влажнеют от ветра глаза.
И слышится, слышится соло,
Звучавшее вечность назад...

Олег Петрович Горшков родился в 1964 году в Ярославле. В 1986 году окончил юридич еский факультет Ярославского Государственного университета. После службы в армии несколько лет работал преподавателем на кафедре уголовного права и процесса в этом же вузе, затем занимался адвокатской и юридической практикой, успешно защищая интересы св оих клиентов в гражданских, уголовных и арбитражных процессах. В последнее время его профессиональные интересы связаны, в основном, со сферой хозяйственного права.

Сочинительством увлекся в школьные годы. Первые стихи опубликовал в конце 80 -х годов прошлого столетия в областной прессе. Публиковался в столичных журналах «Сетевая поэзия», «Родомысл», эстонском журнале «Таллинн», коллективных сборниках и альманахах, выходивших в свет в России, на Украине и в США. В 1998 году в ярославском издательстве «Лад» вы шла в свет первая книга О. Горшкова «Антивремя существования», в 2000 году то же издательство опубликовало его новый поэтический сборник - «Размытая архитектура».

Стихи О.Горшкова представлены в интернет-изданиях «Вечный гондольер», «Рифма. ру», «Поэзия. ру», «Стихи. ру». На двух последних сайтах он является постоянным редактором поэтических рубрик. Около полутора десятков текстов О.Горшкова положены на музыку и исполняются современными российскими бардами.

Живет в Ярославле.

© Олег Горшков, 2006.

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ

Глаза закрою — белый день,
Глаза открою — ночь окрест...
Быть где-то — это быть нигде:
Поземка, шпалы, переезд.
И вспять нет сил, и вдаль невмочь,
И беспробудная земля
За пядью пядь вмерзает в ночь:
Поземка, насыпь, колея.
Зловеще, веще снег скрипит,
И настежь — боль, и чаще — след.
Обходчик в будке глушит спирт
Уже какую тыщу лет.
Дремуч, повадками медведь,
Он до сих пор лесам чужой
Медвежьим этим. Круговерть
Зимы — сильнее спирта жжет.
Плеснет он полстакана мне,
Угрюмо скажет: «Пей до дна».
Глаза откроешь — ночь темней.
Глаза закроешь — тишина...

ALTER EGO

Мой бессонный приживала
И ночной чернорабочий,
Мой настройщик клавиш чутких,
Рисовальщик февралей,
Златоуст мой, жгучим жалом
Врачеватель, — в коробочек,
В табакерку, хоть на сутки
Возвращайся, дуралей.
Безымянный, бестелесный,
Ты мой оборотень ловкий —
Одинокий лист на ветке,
На стекло налипший снег,
Ты мое «что было б, если»,
Ты улика и уловка,
Придыханья теплый ветер,
В человеке человек:
Зыбкий, призрачный, прозрачный,
С расхворавшейся свирелью,
Что простуженно играет
«Всё еще быть может»... Но
На исходе осень. Значит,
Как бы ни поднаторели
Мы в игре безумной — рая
Никому не суждено.

МОЛИТВА

Так и не приучен был молиться.
Мне ущербность слышится в «прощать».
Что ж без гнева, Божия Кормилица,
Смотришь?.. О своих насущных щах
Что-то бормочу, поставив свечку,
О каких-то суетных вещах:
С Пасхи, мол, храню я вербы веточку,
Кладбища стараюсь навещать
И за Волгой, и за тусклой Соной,
Подаю на нищенский общак
И не чужд безудержной, застольной,
Пьяной болтовне, когда обшлаг
Может стать единственной закуской,
А на языке елозит бес...
Говорят, таким был дед, на Курской
Заживо сгоревший в танке. Без
Этой пустоты невосполнимой
Я, быть может, стал совсем другим...
Да, любил, обвенчан был с любимой.
Было, было... По воде круги...
По воде — круги, по снегу — сани,
Мчащие в вечерний непокой.
Свет и тьма — одной руки касанье
Для того, кому сейчас легко
Тосковать, печалиться, и все же,
Пусть мне одиночней и больней
Станет во сто крат — но, Матерь Божья,
Дай здоровья матери моей!

Я БРОЖУ ПО ЗИМЕ

Я брожу по зиме, собирая упавшие ветки,
Словно перья с хвоста улетевшего прочь ноября.
Увязаю в снегу, а забравшийся на табуретку
Мальчик смотрит в окно и, наверное, видит моря.
Ну, конечно, моря, не ворон же, про дрогших от стужи
На карнизах домов, не графичный их, черный ажур,
Не сугроб, не меня — я и праздному глазу не нужен...
Я брожу по зиме.
Может быть, от себя ухожу.

Я сижу у огня. Ненаписанным стихотвореньем
В равнодушном огне, вспыхнув, тают мои времена
И колеблется пламя... Наверное, что-то со зреньем
Приключилось моим, — то ль я выпил без меры вина,
То ль так ярок огонь, но какое бескрайнее море
Распростерлось вокруг...Очарованным взглядом гляжу -
И с кормы корабля мальчик машет мне, пьяному с горя...
Я сижу у огня.
Я себя у огня нахожу.

РОСЧЕРК ВЕТВЕЙ

Теперь ты живешь даже не по часам —
По звукам, по слышным едва голосам,
Всю боль твою вдруг угадавшим.
И ты к вопросительной их темноте
Всё чутче, всё ближе и ближе...и тем
От звонких согласных всё даль ше.
И то, что в себе проговаривал ты,
Как будто по нотам: се участь,
Се черным пребудет и, алаверды,
Се белым, а бог — это случай, —
Всё разом смешается...Из темноты
Бормочущей, цепкой, пастушьей
Нахлынут вопросы, и набело ты,
Как будто китайскою тушью,
Начнешь прорисовывать росчерк ветвей,
Но шелест над выросшей ивою дней
Опять переспросит о том же...
И росчерк на некогда чистом листе,
На шелке прозрачном, на белом холсте —
Всё тоньше, всё тоньше, всё тоньше.

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ — ЗИМА

Московское время — зима. И ничей ли,
Ночей ли — заброшенный век...
Волчонком расстроенной виолончели,
Слипателем стынущих век
Скитается ветер по стогнам столицы,
Вздымая летучую рать
Снежинок, безжалостно жалящих лица,
И силится что-то сыграть —
Какой-то мотивчик, колючий, бессвязный,
Громоздкий, как город и речь
Его одиночеств, бессонниц и праздных,
Заверченных в сумрачный смерч,
Таких нескончаемых, зябких, вокзальных,
Таких заблудившихся толп...
Московское время — зима. Но зима ли?
Московское время — потоп.
О, толп топотание в толще потопа!
Мотивчик в упрямом виске
Звенит: поскитаемся, ветру подобно?
Какое там время в Москве?

ПРОЗА

Алексей Серов

Воин

Рассказ

Зима встала не сразу. Перед тем как окончательно взять поводья, она несколько раз напускалась на город заполошными метелями, заносила дома и улицы жестким сухим снегом, вымораживала лужи — и казалось: все, наступила. Город стоял хмуро на своих холмах, готовясь к многомесячной осаде, истощающей силы и терпение его жителей. Биться с превосходящими силами зимы многим из них уже и сейчас, наверно, не хотелось: ведь она все равно возьмет свое, удержать город не удастся...

Но снег сходил бодро, ни о чем не жалея — так же, как и налетал. Сегодня мороз, а завтра оттепель, слякоть и вечерняя тоскливая мгла, когда фонари горят тускло, а жиденькому небесному свету не от чего отражаться на земле. Голые деревья, холодные городские башни, догнивающий на улицах снег... В такие вечера люди подбрасывают в очаг пару лишних поленьев, жарят мясо, зевают, глядя за окно, и говорят: скорей бы уж и мороз, надоела эта слизь.

За бабу он вступился! Один против троих, глядите-ка на него!.. Ну, и сам дурак. Что они, парни эти, сделали той бабе? Ну, постращали немного, ну, кошелек отобрали, шапку там, сумку с телефоном...И все! Зарабо тала бы она денег, купила себе новую сумку...А ты лежи вот тут теперь, подыхай, как собака...

Пушков вспомнил, как однажды в детстве он увидел у них во дворе собачонку, напоровшуюся животом на старую арматурину. Железяка эта много лет торчала бесполезно и безвредно из земли возле фонарного

Алексей Анатольевич Серов родился в 1969 году в Ярославле, после окончания средней школы работал на заводе, служил в армии, пробовал свои силы в журналистике. Литературным творчеством начал заниматься в школьные годы.

В 1996 году поступил на заочное отделение в Литературный институт имени Горького, учился в семинаре известного критика и литературоведа Михаила Лобанова, защитил диплом на «отлично». Рассказы и отрывки из повестей публиковал в областных газетах. В 200 1 году в Ярославле вышла в свет его первая книга «Семь стрел», в 2006 году в Рыбинске — вторая книга «Мужчины своих женщин». В 2005 году принят в Союз писателей России. Постоянный автор нашего журнала.

Работает электрогазорезчиком на заводе.
Живет в Ярославле.

© Алексей Серов, 2006.

столба, на ней качались дети — встав на нее ногами, пружинили и прыгали вперед. Никому и в голову не приходило, что штука-то — опасная. И вот, ни с того ни с сего, небольшая псинка... как уж она сумела поймать эту железяку? Тоненько, бессильно скулила собака под окнами длинной, с китайскую стену, пятиэтажки, безнадежно взывала к людям о помощи. Но никто не вышел к ней. Наверно, по крику этому ясно было всем, что не жилица больше псина на белом свете, боялись люди заглянуть хоть на миг ей в глаза. Ведь собачьи глаза так горько умеют глянуть, что сердце обварит кипятком.

Приберегали люди свои сердца. Экономили жалость для чего-то другого.

Толстый маленький Пушков, глотая слезы, сказал матери:

— Мам, я выйду, помогу ей. Намажем зеленкой, забинтуем...

— Еще чего! — резко отбила мать.- Грязищу в доме разводить! А убирать кто будет? Я вам что — домработница?

И перекинула отцу:

— Вышел бы, пристукнул хоть. И правда, жалко.

— И так сдохнет, — сказал отец вяло и отвернулся к телевизору, к футболу.

— Ну, ма-ам...

— Замолкни, сказала! — мать сжала свои и без того тонкие губы, а это значило: лучше и впрямь помолчать, пока ремня не схлопотал. — Ишь, страдалец народный. Знаешь, сколько от собаки микробов?

Псина мучилась еще часа два, потом взвыла последний раз... Утром, собираясь в школу, Пушков выглянул в окно и не увидел ее возле фонарного столба.

Немного подумав, он отыскал под кроватью свой старый железный совок, с помощью которого когда-то возводил в песочнице огромные замки с башнями и галереями. Пихнул его в карман.

Вышел из подъезда и, опасливо поглядывая вверх, на окна своей квартиры, подош ел к мусорным бакам. В ближайшем из них, прямо сверху, на куче картофельных очистков, лежал большой рогожный куль, откуда торчали собачьи лапы, словно перемазанные застывшей черной краской. Пушков, кряхтя, вытащил куль и, сгибаясь набок от тяжести, побежал.

Собаку он закопал в ближних посадках. На первый урок опоздал, схлопотал замечание в дневник. Вечером мать отходила его ремнем. Била без всякой жалости, куда придется.

— Мне не нужен сын-прогульщик! Сын-хулиган! Сын-пьяница!

Отец сидел за кухонным столом и аккуратными маникюрными ножничками подравнивал свои усы, пристроив зеркальце к заварному чайнику. Его глаза были напряженно вывернуты, верхняя губа чуть приподнята. Отвлекшись на секунду от своего занятия, в зеркало он посмотрел на жену укоризненно. В о твет она метнула ему такую лютую шаровую молнию гнева, что если бы взгляд пришелся точно, глаза в глаза, зрачки отца были бы неминуемо расплавлены. Но зеркало спасло, даже не треснуло. Отец отложил ножницы и стал тщательно причесываться.

Пушков молчал. С тех пор он всегда молчал, когда мать его била.

Через год отец ушел от них.

После окончания школы Пушков хотел было поступить в институт, на архитектурное отделение, но тут мать заболела, слегла. Нужно было ухаживать за ней, и он пошел работать.

Сквозь съехавшие очки Пушков смотрел на заточку, торчащую в середине его живота. Обыкновенный, ребристый железный прут. Кто бы мог подумать, что найдется идиот, который не пожалеет времени и сил подготовить его (наверно, долго обтачивал, от усердия высунув язык), а потом, не испытывая ни жалости, ни сомнений, возьмет да и сунет в живот человеку... Видно, давно уж он, безбашенный, хотел так сделать, да случая

подходящего все не было, и тут вдруг опа — Пушков! За бабу вступился, жизнь свою на кон поставил. Ну — на тебе тогда, получай!..

— Эй, тетка, стой!

Женщина, сгорбившись еще больше, ускорила шаг. Место темное, безлюдное... но нет, оказалось, люди тут есть. Сидели эти люди и поджидалиименно ее — одинокую, слабую, боящуюся даже голову поднять, им в глаза посмотрет ь...

— Стой, тетка!

Да не такая уж и тетка. Пушков ее еще в автобусе приметил: вполне молодая и очень даже симпатичная бабеночка, стройненькая такая... Может, чуточку худоватая даже, кто - то назвал бы ее и костлявой; зато вот коса из -под шапки — толстая, русая... Пушкову такие нравились. И она, между прочим, его тоже выцепила взглядом в толпе, отметила особым прищуром ресниц. Пушков аж вспотел: неужели?..

Короткая юбка, темные чулки...

Вышли они вместе, и дальше им было в одну сторону. Сразу заговорить он н е решился, потопал следом, держа в поле зрения ее красивую белую куртку и белые сапожки и надеясь только на счастливый случай. Например, она уронит сумочку, а он, мгновенно оказавшись рядом, подаст, предупредительно улыбнувшись. И тут она обратит внимание , какие умные у него глаза, какая приятная улыбка... «Как вас зовут?» «Максим. А вас?» Дальше фантазировать он слегка затруднялся — пока еще не знал, как ему хочется, чтоб ее звали.

Или выйдут из темноты обкуренные отморозки, а он...

Так и шел он за ней, воображая себя ее тайным провожатым, этаким рыцарем в ночи.

А тут и отморозки. Как по заказу.

«Из двух возможных путей выбирай тот, который ведет к смерти», — рекомендует кодекс самурая. Пушков эту рекомендацию помнил хорошо, японская книжка всегда лежала в его ранце.

Но теперь, умирая, он чувствовал, что выбирать ему совсем не надо — все и так происходит как бы само собой, без участия его воли: ведь железный прут, торчащий из середины живота, нарушил деятельность внутренних органов его тела. Каких именн о органов, Пушков не знал — он раньше ими совсем не интересовался, только жил с их помощью. А вот теперь с их помощью умирал. Впрочем, что уж тут особо сложного, подумал он: один орган отказывается работать, что вызывает паралич другого...и дальше, по цепочке. Внутри его живота, вокруг торчащего железного прута уже запустилась сложная реакция отключения его тела от жизни. Пушков попытался объяснить себе, как же это так случилось, что вот он умирает, но понять из этих объяснений ничего было нельзя, Да и нужно ли было что-то объяснять? Он свое сделал. Теперь его дело было — ждать, когда все кончится, и знать, что все кончится очень скоро. Тело не спрашивало у него разрешения на смерть, умирало само по себе.

А ему было как-то даже все равно...или не все равно?

Одно он твердо знал, твердо чувствовал: что в этом умирании соблюдается некий незыблемый порядок, который не может быть нарушен и отменен просто так. Была во всем этом какая-то особая торжественная серьезность... и даже оправдание всего, что случилось до этого.

Ведь он сам был причиной этого происшествия. Этим вполне можно гордиться, подумал он. Раньше он был какой -то неполный, в нем не хватало какой -то важной детали... а вот теперь все детали на месте. Последний недостающий фрагмент пришел к нему в виде острого железного прута.

Он вдруг преисполнился умиротворения.

Теперь он настоящий!

Он лежал на первозданно-белом снегу, из раны в его животе текла спокойная кровь. Снег таял, смешиваясь с кровью. Кровь остывала на снегу. Тихо и сумрачно было вокруг, ни души.

Пушков смотрел в низкое, быстро темнеющее небо и руками сжимал свой омертвелый живот. Он почти не чувствовал боли. Словно кто-то отодвинул боль в сторону, сжалившись над ним...

Баба повыла возле него немного, а потом убежала звать на помощь.

— Я скоро! Вы потерпите?

— Конечно, — кивнул он, холодно блеснув на нее снизу очками и пытаясь мужественно улыбнуться.

Она убежала.

Нет, ничего у нее не выйдет, подумал он. Далеко, людей не дозовешься, телефоны-автоматы не действуют — шпана давным-давно все трубки пообрывала. На подъездах — замки, домофоны, попроси открыть дверь — пошлют к черту. Нет шансов.

Вот так. Соблюдал он кодекс самурая, и теперь лежит он, умирая.

«Воистину храбр тот, кто смерть встречает с улыбкой. Таких храбрецов мало, они редки.»

Все-таки он чего-то ждал.

Ему вспомнилось, как в детстве они однажды играли с приятелем в посадках и он случайно распорол себе ногу. Распорол глубоко, сразу весь залился кровью. Он тогда стоял, не соображая, что делать, а приятель тоже остолбенел, глядя на кр овь, да вдруг и хлопнулся в обморок... Тут сразу и стало ясно, как поступать: Максим взвалил приятеля на плечи и двинулся в сторону дома. В своем дворе он появился уже весь окровавленный, из ноги текло. Конец брюкам, подумал он тоскливо. Впереди него бежа ли и выли собаки, на этот шум выглянул из окон весь дом, а потом показалась и мать. То-то досталось ему тогда — за все хорошее...

— Не трогайте ее! — крикнул Пушков парням. Крикнул, словно плюнул в них, еще и головой размахнувшись для дальности плевка. Его толстые губы были в этот момент обиженно выпячены вперед, а руки висели вдоль тела, как плети. Потешная вязаная шапочка налезала ему сверху на очки, на груди висел простой, грубо сшитый брезентовый ранец. Во защитничек, во спаситель....

Парни только-только отобрали у бабы сумочку и начали стаскивать шапку. Но, должно быть, уже примеривались, чем бы у нее и еще можно попользоваться. А у нее оставалось не так уж много. Самое последнее оставалось — то самое, чем делиться ей с ними хотелось меньше всего.

— Не трогайте ее! — повторил Пушков уже посмелее, потому что отморозки на секунду молча застыли.

Но только на секунду. Глаз у них был наметанный: разглядев Пушкова в полутьме, они как-то разом согласно усмехнулись и двинулись к нему. Про бабу мгновенно забыл и, и она молча и как-то деловито побежала прочь. Словно бы заранее знала все, что произойдет с ней сегодня — и заранее позаботилась о защитнике: мигнула ему в автобусе, поманила...

Живот с детства доставлял Пушкову неприятности. Мешал всегда и везде: на физкультуре в школе, в армии, на работе... Про слабый пол и говорить нечего — не был Пушков популярен у женщин. И все из-за живота.

Иногда он чувствовал себя туго надутым воздушным шариком, и даже мечтал, чтобы кто-нибудь однажды выпустил из него лишний воздух.

Вот и выпустили.

Парень, шедший к Пушкову впереди остальных, был высокий и совсем седой. Его губы кривились в странной усмешке: левый край оттягивался в сторону и книзу как-то по-волчьи. Он шел быстро и правую руку держал в кармане. Остановился в двух шагах. Пушков, глядя на хищный рот парня, мгновенно понял, что это пришла за ним его смерть — но даже не шевельнулся, чтобы защититься, или хотя бы принять угрожающую позу.

Парень чуть склонился перед ним — как будто поклонился ему.

— Т-так вот ты к-ка-акой! — и, засмеявшись, резко выбросил вперед руку.

Пушков дрогнул, ощутив, как чужое и острое вошло в его живот. Ему стало больно. Он посмотрел вниз, но там висел его ранец, в котором он носил на работу обед и японскую книжку. Тогда он пощупал руками в том месте, где было больно. Там торчал какой-то железный штырь.

Ноги Пушкова подломились, и он упал набок.

Отморозки потоптались рядом. Возле лица Пушкова крепко встал забрызганный грязью ботинок с толстой ребристой подошвой. Постояв пару секунд, ботинок начал качаться с пятки на носок и обратно. Качнулся раз пять, потом резко отъехал куда-то в сторону и вверх, задержался в воздухе...

— Н-не трожь его! Он свое уже п-получил...

Ботинок медленно вернулся на место. Рядом с лицом Пушкова на асфальт шлепнулся смачный плевок.

— Валим по-б-быстрому отсюда!

— Седой, надо бы глянуть, вдруг у него че есть?

— У этого х-хыренделя? П-пусто... П-пошли!.

— Ну, как скажешь...

Ботинок исчез. Зато очень скоро появились белые женские сапожки.

— Эй... живой ты, мужчина?

Пушков медленно провез головой по грязному снегу.

Баба присела перед ним на корточки и начала тоненько скулить, прерываясь только для того, чтобы со свистом втянуть в себя воздух. Чтобы не сесть задницей в снег, она двигала своими длинными худыми коленями, словно рычагами, так ей удавалось удерживать равновесие. Руки она держала в карманах. Вдруг, замолчав, она жадно спросила:

— Больно?

Он только и смог, что моргнуть сквозь очки. Лишь через минуту смог прошелестеть:

— Извините...

Ему снизу неловко было смотреть на нее. Короткая эта юбчонка...

Вдруг стало будто бы светлее. Все вокруг он увидел до мельчайших деталей ярко, как в солнечный полдень. Голые деревья, силуэты высотных башен над ними, сломанная скамейка, на которой стояла полупустая пивная бутыль... И даже видел Пушков, что в ней не пиво, а просто глупый шутник прикола ради помочился туда и оставил так на радость бомжам: пейте, ребята!.. И штырь, торчащий в животе, он разглядел, наконец, как следует: толстый ржаво-коричневый прут, мелкие ребра елочкой...

«Скорая», мигнув фарами, остановилась возле, и сразу оттуда выпрыгнула та самая баба, а за ней — люди с раскладными носилками.

— Вот он!

— Ну что, мужик, как дела-то? — склонившись над Пушковым, спросил белокурый небритый ангел огромного роста. На плечи его была наброшена фуфайка защитного цвета.

Пушков не ответил, только руки на животе слегка развел, показал: вот...

— Ясненько... — сказал ангел. Он быстро поклонился и сделал Пушкову укол в ногу — будто оса укусила. — Давай, Коля!

Максима осторожно переложили на носилки и задвинули внутрь «скорой». Баба вскочила следом и бережно подхватила его тяжелую руку, бессильно свесившуюся набок.

— Ты только живи, мужчина!

На поворотах мотало, ему становилось тошно, и она придерживала носилки, чтобы они не елозили. Когда он мычал от боли, она тоже что-то такое шипела, при этом сухая веснушчатая кожа на ее лице натягивалась так, что ему становилось страшно: а вдруг лопнет? Череп просвечивал сквозь кожу слишком уж явственно. Не так уж она и красива, подумал Пушков... и не так уж молода.

Он ни о чем не жалел.

Они ехали минут пять, потом встали, Пушкова вытащили наружу и понесли, баба бежала рядом, держа его за руку, а потом ее оттеснили. Сквозь налетавшее все чаще забытье он услышал:

— Живи, мужчина!

Он задумался над этими словами и встрепенулся. Жить?..

«Тот, кто заранее не решился принять неизбежную смерть, всячески старается предотвратить ее. Но если он будет готов умереть, разве не станет он безупречным?»

Готов ли я умереть теперь? — подумал он. — Теперь, когда уже за мной приехала «скорая»...

На какое-то время его бросили в коридоре одного.

— Что со мной будет? — спросил он своего ангела, который, наконец-то, возник под слабой зарешеченной лампочкой из полутьмы длинного коридора; ангел проходил мимо Пушкова, разглядывая какие-то бумаги, и лицо у него при этом было словно вдавлено внутрь головы, и губы втянуты, а взгляд хмурый и какой-то рассеянный.

— А? Что? — откликнулся ангел. — Ну что, операция будет... потом следствие, показания... Ты их хоть запомнил?

— Запомнил... Так, значит, я буду жить?

— Жи-и-ить? — удивился ангел. На мгновение он поднял голову вверх, словно о чем-то вопрошал отца своего небесного. И, получив ответ, подтвердил:

— Да, конечно. Но это еще не скоро...

Пушков почувствовал, как в его животе отменяется запущенная час тому назад реакция отключения его от жизни. Он вдруг ощутил железо внутри себя, ему стало нестерпимо больно, и он застонал.

— Блин, да где же эти черти? — ругнулся ангел. — Потерпи, мужик, немного осталось.

— Она сказала мне жить! — прохрипел ему Пушков, улыбаясь.

— Повезло тебе, что она на нас наткнулась! Мы как раз собирались уезжать — сделали одной старушонке укол от давления... только из подъезда вышли, а тут эта бабенка налетает с глазами по девять копеек: там мужчина раненый ! Повезло тебе...

Ангел еще что-то говорил, но Пушков уже ничего не слышал. Он съезжал по пологому склону в какую-то глубокую воронку, земля осыпалась под его ладонями, край воронки сдвигался вверх, пропадая из виду...

В полном боевом облачении, сидя на коне и держа поводья, он смотрел вниз по склону холма — на огромное облако пыли, в котором еще нельзя было различить ни пеших, ни

всадников. Там, вдалеке, двигалось вражеское войско, втрое превосходившее его собственные силы.

За спиной князя хмуро стоял город, который неминуемо будет сегодня разрушен. Удержать его не удастся — многомесячная осада истощила последние силы и терпение воинов. Все знали, что помощи ждать неоткуда. Раньше или позже, но неприятель возьмет город. И князь принял решение выйти из стен крепости, чтобы дать врагу последний бой.

На башни города садилось солнце, плавившееся в собственном соку.

Вот-вот один из шпилей проколет этот гигантский желток, и нестерпимый оранжевый свет зальет все в округе... Удачная позиция, подумал князь. Они идут вверх и смотрят против солнца.

— Сегодня хороший день для смерти, — сказал он.

— Да, ваша светлость, — бодро откликнулся генерал.

Горы, дремлющие в ожидании близкой зимы, равнодушно взирали со стороны на людей, готовящихся к кровопролитию.

Молодой генерал поднял руку, и все звуки на поле стихли. Любимый пес князя, сидевший рядом, склонил голову набок и навострил рваное ухо. С давних пор воины клана использовали в бою огромных собак, пуская их свору впереди себя, чтобы смешать чужие порядки. Этот прием действовал безотказно: почти все собаки гибли в первые же минуты боя, но дело свое сделать успевали. Вот кто поистине заслуживал бы звания самурая!.. Глухой от старости, когда-то в юности поддетый на копье, но выживший (князь сам лечил его целебными мазями и отварами), покрытый множеством шрамов боевой пес издалека почуял запах предстоящей битвы — запах обильной крови, конского пота, дыма...

Пес жадно зевнул и посмотрел на своего повелителя снизу вверх. Они оба знали, что это их последняя битва.

Издалека послышался тяжелый, словно в начале землетрясения, гул быстро приближавшегося войска. Вскоре в валящей пылевой туче стали различимы зубастые конские морды и торчащие кверху древки копий и чужих знамен. Лиц еще не было видно.

Князь посмотрел на генерала и медленно наклонил голову. Генерал с улыбкой уронил руку, и в тот же миг в воздух взвились тысячи стрел. Преодолев ничейное расстояние, они ушли в пылевую тучу. Оттуда послышался короткий рев, словно какое-то гигантское животное было ужалено роем ос. В ответ из тучи тоже полетели стрелы, но не достигли цели.

Еще один залп, и еще... Сменяя друг друга, вышколенные лучники били слаженно, но туча и не думала останавливаться — она поглощала стрелы, казалось, без всякого вреда для себя, лишь взревывала с каждым разом все яростнее. И вот уже расстояние между двумя войсками стало критическим... медлить больше было нельзя.

Князь кивнул псарям. Отпущенные с поводков, боевые псы с ожесточенным лаем кинулись вперед и вскоре исчезли в пыли.

Князь выхватил катану, дал шпоры коню и на мгновение оглянулся.

Вслед за ним неслась его армия.

Хороший день сегодня, подумал князь, врезаясь в людскую гущу и на выдохе срубая первую голову.

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

Альберт Максимов

Нов город Ярославль

Многочисленные переписывания и исправления древнерусских летописей, позднейшие неточные переводы этих текстов и их неверные толкования, следование традиционной (обманной) хронологии привели к тому, что история Древней Руси (в том виде, какой ее ныне преподносят в российских школах и вузах) оказалась значительно искаженной. В правоте этого тезиса, вслед за рядом современных исследователей, убежден и ярославец Альберт Максимов. Читая летописи и труды историков, он пришел к выводу, что многие традиционные интерпретации древних событий попросту лживы.

В частности, А. Максимов считает, что «Новгород» русских летописей означает не современный Новгород на реке Волхов, а «Новый город Ярославль». Доказательству этого и посвящена настоящая статья, написанная специально для нашего журнала.

«Новгород Великий - старшее княжение
во всей Русской земле».
Всеволод Большое Гнездо

«О древности Новгорода вообще
и времени основания его в частности
ничего определенного нельзя сказать».
А. В. Экземплярский

ГИПОТЕЗА НОСОВСКОГО-ФОМЕНКО

Глеб Носовский и Анатолий Фоменко выдвинули гипотезу о том, что исторический Великий Новгород — это Ярославль, т.е. между современным Ярославлем и летописным Новгородом можно поставить знак равенства: Ярославль=Новгород. Для ее подтверждения авторы привели целый ряд

Альберт Васильевич Максимов родился в 1957 году в Ярославле. В 1979 году окончил Ярославский политехнический институт по специальности «инженер-механик», работал инженером в тресте «Ярхимпромстрой». В 1980 году был избран секретарем комитета комсомола треста. С 1981 года — заведующий сектором ярославского обкома ВЛКСМ, с 1988 — сотрудник молодежного центра «Экспресс».

В начале 90-х годов прошлого столетия начал заниматься предпринимательской деятельностью. В настоящее время — директор книготорговой фирмы «Фолиант».

В студенческие годы начал сочинять стихи; в 80-х годах написал несколько фантастических повестей, доныне не опубликованных. Несколько лет тому назад увлекся историей. В 2005 году в Ярославском издательстве «Нюанс» вышла первая книга А.Максимова «Русь, которая была», в 2006 году там же — «Русь, которая была-2». Автор продолжает работу над новыми книгами о загадках древнерусской истории.

Живет в Ярославле.

© Альберт Максимов, 2006.

доказательств. Последние можно разбить на две группы: первая — свидетельства того, что современный Новгород на Волхове не мог быть Великим, как то утверждает традиционная история; вторая группа доказательств увязывает летописный Новгород с Ярославлем.

Нахождение истины в данном вопросе имеет принципиальное значение для всей древнерусской истории, ибо именно с Новгорода она и началась. Поэтому рассмотрению этой проблемы необходимо уделить особое внимание. У меня собрано много фактурного материала в пользу гипотезы Носовского и Фоменко (далее Н. и Ф.). Но перед тем, как начать излагать эти доказательства, давайте вкратце рассмотрим материал, приведенный в поддержку этой гипотезы самими этими учеными.

Прежде всего следует отметить, что крупномасштабные раскопки, уже более пятидесяти лет ведущиеся в Новгороде, не привели к каким-либо значимым открытиям. Берестяные грамоты, найденные там, не дали исторической науке ничего существенного, так как в своей основе они представляют всего лишь бытовые записи. Псалтырь, найденный там же в 2000-ом году, вряд является столь древним, как об этом тут же поведал всему свету главный археолог Новгорода Янин. Об этой находке Н. и Ф. к моменту написания этих строк еще не выносили своего суждения, но оно, я думаю, не будет отличаться от моего мнения.

Н. и Ф.совершенно справедливо отмечают, что «Новгород в действительности никогда не был крупным торговым центром...Трудно найти другой город, расположенный столь неудачно в торговом отношении». Сторонники традиционной версии не могут сообщить, через какой морской порт шла новгородская торговля. Единственно оптимальным с географической точки зрения портом мог быть Петербург, но последний, как известно, был основан только три столетия назад.

Где же проходила «Великая Дорога», соединявшая Новгород с Северо-Восточной Русью? «До сих пор там труднопроходимые, болотистые места». На полтысячи километров от Новгорода как в сторону Москвы, так и в сторону Киева «нет никаких старых исторических центров».

В самом Новгороде археологи до сих пор не могут найти так называемое Ярославово дворище — место, где собиралось знаменитое новгородское вече. Правда, академик Янин предложил некую территорию, но как он сам же и сообщил, на ней «ни одного замощенного или утоптанного участка не нашли». Как же Янин объясняет такую странность? А вот как: новгородское вече состояло-де всего лишь из трехсот человек.(!)

Тему Ярославова дворища вскользь упомянул в книге «Россия, которой не было — 2» Буровский, резко обрушившийся на гипотезы Н. и Ф. и обвинивший авторов в невежестве. Но вот одна из его фраз: «Спор профессора со студентом возможен, все-таки, в основном в учебных целях. А тут такая бездна невежества, что и с семиклассником сравнить непросто. А как прикажете хоть что-то объяснить человеку, не владеющему самым элементарным материалом?! Ты ему скажешь: «На Ярославовом дворище было найдено...» А он выпучит глаза: «Так ведь Ярославова дворища нет?!»

В чем же заключается «невежество» Н. и Ф.? Не веря на слово корифеям нашей исторической науки, они просто попросили их привести убедительные доказательства того, что именно эта территория в Новгороде и есть то самое, знаменитое Ярославово дворище. Если таких доказательств нет, значит это место вряд ли являлось новгородским дворищем. Логично? Оказывается, нет: это «бездна не вежества»!

Н. и Ф. приводят несколько примеров географического несоответствия нынешнего Новгорода маршрутам движения князей согласно летописям. Кстати, мной этот список добавлен, но об этом чуть ниже.

Далее, Н. и Ф. приводят в пример несколько наиболее известных зданий, сохранившихся, по мнению традиционной истории, с древних времен. В действительности же все эти здания на древние «не тянут».

И, наконец, по мнению авторов, еще в XVI веке «городок на Волхове не имел даже собственного имени, а назывался безли чно «околотком».

С последним утверждением уважаемых Н. и Ф. я не могу согласиться. Да, Новгород на Волхове был маленьким и захолустным городом. Но это не мешало ему иметь свою определенную историю, и об этом — немного дальше.

В поддержку своей гипотезы о Ярославле, как истинном Великом Новгороде, Н. и Ф. приводят ряд серьезных доказательств. Они отмечают, что Ярославль длительное время являлся крупнейшим торговым центром, находясь на пересечении Северо -Двинского и Волжского водных путей. Даже при перемещен ии центра торговли с Европой из Архангельска в Петербург город все еще продолжал играть заметную роль во внутренней торговле. Новгород на Волхове, получив выход к Европе через Петербург, этим подарком судьбы распорядиться не смог.

Но тема эта у Н. и Ф. раз вита все-таки вкратце. Давайте же всерьез рассмотрим доказательства того, что именно Ярославль и есть тот самый, знаменитый летописный Великий Новгород.

СООБЩЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ АВТОРОВ

Вначале воспользуемся информацией различных арабских авторов, упоминав ших те или иные земли будущей Киевской Руси. Так, историк X века Массуди упоминает о земле Нукбард или Нукирад, соседствующей со славянской. На наш взгляд, речь однозначно идет о Новгороде. Но ведь Новгород, по Нестору — центр чисто славянских земель, а именно, племени ильменских словен. Зато Ярославль как раз был расположен на территории мерян, но рядом со славянскими землями.

Скажите, откуда лучше и удобнее в ывозить на восток соболей и ли сиц — из Новгорода Ильменского или из Ярославля? Не спорю, можно, к онечно, и из Новгорода, но откуда в Новгороде свинец? А ал -Истахри пишет, что «из Арты вывозятся черные соболи, черные лисицы и свинец».

При чем здесь Ярославль? А вот при чем. Практически в границах современного Ярославля расположено Тимерево, где в конц е первого тысячелетия активно разрабатывался участок падения крупнейшего метеорита. Большие запасы небесного металла лежали на поверхности земли. А по тем временам металл был очень и очень редок. Достаточно отметить, что в битве при Гастингсе в 1066 году в ойска обеих сторон рубились каменными топорами. Если действительно речь шла именно о свинце, то его, опять же, можно было достать только в Заволжье. В «Худуд аль -алам» говорилось о мечах русов, напоминавших по свойствам булат.

В могильниках районов Верхней Волги и Среднего Поволжья находят много различных железных вещей, однако в этом регионе залежей железной руды нет. Поэтому принято считать, что железо выплавлялось из болотной руды. Но тогда его качество должно быть низким, а железные вещи из раскопанных могильников, напротив, отличает высокое качество: редкие изделия покрывает сильная ржавчина. Анализ образцов изделий из Тимерева показал аномально высокое содержание никеля. О том, насколько большим был упавший метеорит, свидетельствует размер оставшейся в падины: диаметр 800 метров и глубина 10 метров.

Согласно Ибн-Дасте, глава русов живет в городе, называемом Джарваб, в котором ежемесячно происходят многодневные торги. Звук -дж— в этом слове довольно близок звуку -я-, а значит, не исключено, что этим город ом мог быть и Ярославль. По крайней мере, это не Киев или, скажем, Смоленск или тот же Новгород, названия которых никак нельзя по звучанию отожествить с Джарвабом.

У Ибн-Хаукаля три группы русов называются так: Гунаб, Арта и Дшелабе. Последняя группа обитает выше жителей Арты. «Но для торговли никто не ездит далее Булгарской

столицы, никто не ездит до Арты». Итак, здесь однозначно дается понять, что Арта находится выше от Булгара по Волге. А еще дальше расположен Дшелабе. А теперь сравните два названия: Джарваб и Дшелабе. Они очень схожи, как, впрочем, похоже и их возможное оргинальное звучание: Ярославль и Переяславль (Залесский).

Что подразумевал Ибн-Хаукаль под Артой? Опять же, скорее всего, Ярославль или Ростов. Уж никак не Новгород на Волхове! И вот зде сь нам должен помочь медведь. Дело в том, что для угорских племен он, как известно, занимал центральное место в культах. На территории Верхней Волги жила меря — финно-угорское племя. Во многих индоевропейских языках корень «арт» означает «медведь». Для яро славцев же медведь — культовое животное, именно он изображен на гербе Ярославля. Не спорю, что здесь, скорее всего, имеет место совпадение: «арт» и «Арта», но не отметить такой факт тоже нельзя.

А вот на древнем гербе Новгорода изображен волк, маленькое тр ехъярусное возвышение, посох и медведь. Но ведь мы знаем, что медведь — герб Ярославля. Возможно, ссылка на медведя в древнем гербе Новгорода может означать то, что Новгород являлся дочерним городом Ярославля и находился в его подчинении. Почему не наоборот? По законам геральдики возможен только такой вариант ответа. Возьмите гербы городов Ярославской области. Практически на всех есть изображение медведя, как символ их подчиненности Ярославлю. Но на них медведь не такой крупный, как на гербе Ярославля, и обязательно расположен на фоне каких-либо местных геральдических изображений.

И. Коновалова в своей книге «Восточная Европа в сочинении ал-Идриси» рассматривала локализацию шести городов, относимых к Новгородской Руси. К сожалению, в решении этой задачи ей н е повезло, так как за основу, естественно, пришлось брать традиционную версию истории. Несмотря на все труды, без белых ниток не обошлось, впрочем, иначе и быть не могло. Город Харада Коновалова соотнесла с Новгородом. Вполне с этим соглашусь. Город Аба'д а (или Анкада, Алгада) принят за Ладогу. Замечу, что, согласно ал-Идриси, расстояние между ними — один день пути. А между прочим, реальное расстояние между этими городами — 200 километров.

Далее, города Астаркуса (опять же вроде как Новгород), Аб'ада (т.е. Ладога, по мнению Коноваловой), Бусада (неизвестно) и Лука (Великие Луки), по ал-Идриси, связаны общим водным путем — рекой Булга (т.е. Волгой). Коновалова эту проблему разрешает следующим образом: по ее мнению, в том, что, по ал-Идриси, «города стоят на Волге», нет ничего страшного: это «подразумевало не столько их расположение непосредственно на волжских берегах, но просто включенность в систему Балтийско-Волжских торговых путей». Весьма неубедительно. Но таково прокрустово ложе традиционной истории.

Город Бусада, по мнению ряда ученых, не город, а народ, известный нам как югра, а это уже район Северного Урала. Наконец, шестой город в этом списке — Баруна — отожествляется (и, вероятно, справедливо) с городом Муромом. То есть, как видим, традиционные истор ики вынуждены признавать, что часть топонимов все-таки относится к северо-восточной части Руси.

А что получится, если применить альтернативную версию истории? На Волге, помимо Ярославля—Новгорода, есть такие старинные города, как Молога (чем не Лука?), Кострома (Аб'ада? Харада?), недалеко расположен крупный Суздаль (Бусада?). Впрочем, здесь уже начинается гадание на кофейной гуще, то есть то, чем вынуждены заниматься традиционные историки, вгоняющие различные древние сведения в жесткие, но неверные рамки традиционной истории. Но и предлагаемый вариант отожествления городов Северо-Восточной Руси с городами, упомянутыми у ал-Идриси, выглядит, на мой взгляд, предпочтительнее, чем у современных традиционных историков.

Прежде, чем вновь вернуться к сочинениям Ибн-Хаукаля, отметим фрагмент из сочинений Константина Багрянородного, который писал, что росы, отправляющиеся с

однодеревками «из ВНЕШНЕЙ Росии в Константинополь являются из Невогарда, в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии...». Вероятно, внут ренняя (т.е. ближняя) Росия — это Тамань, а обширный регион Киевской Руси — внешняя.

Итак, Невогард (или Немогард, по другим переводам византийского текста) — это Новгород, но данная византийская трактовка названия очень близка к слову «Нероград», а озеро Неро расположено близ Ярославля. Из этого озера течет и впадает в центре Ярославля в Волгу река Которосль. Кто знает, как она раньше называлась — может, Нера? Это не такое уж фантастическое предположение. Река Нева вытекает из Ладожского озера. Но, оказывается, считается, что Ладожское озеро раньше называлось Нево. То есть, из озера Нево вытекает река Нева, впадающая в Финский залив. Кто знает, может быть, и в самом деле из ростовского озера Неро вытекала река Нера?

По сведениям Ибн-Хаукаля, в 968 или 969 году русы опустошили Булгар (кстати, охарактеризованный как маленький городок; если, по другим источникам, Куяба (=Киев) больше Булгара, то, вероятно, и Киев не такой уж крупный город, так как он находится в том же порядке размерности, что и маленький Булга р), а затем города Хазарии. Самое интересное в этом сообщении то, что русы помещены на реке Атиль (то есть Волге), недалеко от булгар, между БУЛГАРАМИ И СЛАВЯНАМИ. А этому району вполне соответствует Ярославль. Вспомните информацию Константина Багрянородно го, согласно которой Святослав княжил в Немогарде. Если Немогард — это Ярославль, то византийские и арабские источники удивительным образом сливаются в одной географической точке — Ярославле.

Кстати, археологи не подтверждают большого размера Киева.

Тот же Ибн-Хаукаль во второй половине X века называет Волгу Русской рекой. Почему-то считается, что он назвал ее так за удачный поход Святослава. Но основания для такой характеристики должны быть серьезнее: русские купцы, да и не только купцы, давно уже обосновались на ней и, в первую очередь, в Ярославле.

СВЕДЕНИЯ СКАНДИНАВСКИХ САГ

Теперь хочу предоставить читателям отрывок из скандинавской «Саги о Хаконе Хаконарсоне»: «Этим летом отправились они в военный поход в Бьярмаланд, Андрес Скьяльдарбанд и Ивар Утвик. У них было четыре корабля. И то было причиной их поездки, что ездили они в Бьярмаланд в торговую поездку за несколько лет до этого, Андрес из Сьомелингар и Свейн Сигурдарсон, Эгмунд из Спангхейма и многие другие. У них было два корабля. И отправились он и назад осенью, Андрес и Свейн; а они остались с другим кораблем, Хельги Богранссон и его корабельщики, Эгмунд из Спангхейма тоже остался; и отправился он осенью на восток в Судрдаларики со своими слугами и товаром. А у халогаландцев случилось несогласие с конунгом бьярмов. И зимой напали на них бьярмы и убили всю команду. И когда Эгмунд узнал об этом, отправился он на ВОСТОК в Хольмгардар и оттуда по ВОСТОЧНОМУ ПУТИ к морю».

Прежде всего, следует пояснить, что названный в саге Бьярмаланд — это, согласно традиционной версии, район, примыкающий к Белому морю, Судрдаларики — Суздальское княжество, а Хольмгардар — Новгород. Но при таком раскладе получается, что Новгород был восточнее Суздаля! Если же принять, что Новгород — это Ярославль, то Эгмунд сначала едет на восток, в район реки Мологи на ярмарочные торги (недаром в саге отмечен его товар), а далее, действительно, еще восточнее, в Ярославль, откуда вниз по Волге по восточному пути к морю.

Скандинавы по северному морскому торговому пути заходили из Белого м оря в Северную Двину и далее по системе рек Сухона — Шексна попадали в Ростово-Суздальское княжество (Судрдаларики) на реку Волгу. На мой взгляд, под Бьярмаландом стоит понимать весь северный путь, проходивший через ярославское Поволжье.

В одной из саг Снорри Стурлусона говорится, что Магнус Олавсон отправился с ВОСТОКА из Хольмгарда в Альдейгьюборг, а это город Ладога. Но современный Новгород находится не восточнее Ладоги, а юго-западней, в отличие от Ярославля, который действительно расположен к востоку от Ладоги.

Почему же был популярен путь через Белое море вокруг всей Скандинавии? Не проще ли было плыть по Балтике через Ладогу и далее по так называемому пути «из варяг в греки», который намного короче? Ответ такой: не всегда короткий путь безопаснее. Что бы доплыть до Ладоги, норвежским купцам и викингам нужно было пройти узким морским проходом через территории древних данов и свеев, жителей Дании и Швеции, которые баловались морским разбоем. Эта причина и могла послужить выбором пусть более дальнего, но более безопасного северного пути на Русь.

В сагах мы читаем: «В том государстве есть Руссия, мы называем ее Гардарики. Там такие главные города: Морамар, Ростова, Сурдалар, Хольмгард, Сюрнес, Гадар, Палтескья, Кэнугард». Давайте определим, какие здесь названы древнерусские города. Историки считают, что это: Муром, Ростов, Суздаль, Новгород, ...(неизвестно), ...(неизвестно), Полоцк, Киев.

Я могу предложить другой вариант: Муром, Ростов, Суздаль, Ярославль, Смоленск, Городище, Полоцк, Киев. Сравните эти два списка. Второй, как видим, более полный, первые четыре города — из северо-востока, остальные три — столицы крупных княжеств, плюс Городище (Новгород Ильменский) — центр пусть небольшого, но географически близкого к Балтике региона. Из известных городов отсутствует Чернигов, но он находится далеко на юге, и не на Днепре (да и сам Киев в этом списке на последнем месте).

Сравните названия Сюрнеса и Смоленска без огласовок: СРНС и СМЛНСК т.е. С...НС и С...НСК. То есть название «Сюрнес» вполне могло произойти от названия Смоленска. Ну, а «Гард» на скандинавском — это просто город, поселение, в данном же случае речь идет о соседнем с ильменским Новгородом Городище. Город, основанный недалеко от него в десятом веке, получил название Новгорода, то есть нового Городища. Были же у нас столицы княжеств с одинаковыми названиями: два Владимира и Галича, три Переяславля. Было и четыре Новгорода: современный — Ильменский, Северский, Ярославль и Нижний.

А вот что пишет старый норвежский историк Торфей, автор многотомной «Истории Норвегии». По его словам, Хольмгард был столицей Биармии и русским княжеством, которым правил Ярослав Мудрый. Согласно русским летописям, Ярослав Мудрый был новгородским князем. Взгляните на карты: Новгород Ильменский ни в коем случае нельзя соотнести с Биармией, а вот Ярославль — вполне. Следовательно, если верить Торфею, то Ярославль (а не современный Новгород) был ДРЕВНЕЙ СТОЛИЦЕЙ и княжеством Ярослава Мудрого. Кстати, Носовский и Фоменко ссылаются на книгу Е. Мельниковой «Древнескандинавские географические сочинения», в которой отмечается «попытка К. Мейнандера приурочить Бьярмию к ярославскому Поволжью на основании вещевых находок». В этой же книге Мельникова отмечает, что ни один из дорожников ХП-ХШ веков не знает маршрута «из варяг в греки», который, как считает традиционная версия, проходил через Новгород и Киев.

Кстати, что может означать слово Хольмгард? Колм по-фински означает ТРИ, следовательно, Хольмгард может быть переведен как «Три города». О ТРЕХ русских городах — Куябе, Арсе и Славии (или по Ибн-Хаукалю — Гунабе, Арте и Дшелабе) писали арабы...

РУССКИЕ ЛЕТОПИСИ О НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

В Пушкинской и Троицкой летописях написано: «прийдоша старейший Рюрик...а другой Синеус на Белоозеро, а третий Изборсте Трувор». Место, куда пришел княжить Рюрик, в летописях пропущено. На это никто из историков внимания не обращал, а

стоило бы задаться вопросом: какое же слово стояло в оригинале — Новгород или, может быть, Ярославль?

В Архангельской летописи сказано, что Аскольд и Дир, уйдя от Олега из Нов города, плыли Днепром мимо Смоленска, но не посмели войти в этот великий и многолюдный город. А теперь взгляните на карту: Смоленск находится в стороне от маршрута Новгород — Киев, а вот при движении из Ярославля к Киеву, действительно, мимо Смоленска не проплыть.

Кого взял в свой киевский поход (882 года) Олег? «Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов: варягов, чудь, словен, мерю, весь, кривичей...». Если считать традиционным месторасположение Новгорода, то почему в этом списке нет води, жившей на берегах Финского залива недалеко от Ладоги, а есть далекая меря, обитавшая в районе Ярославля?

Итак, в 882 году Олег выступает из Новгорода в южный поход. По версии традиционной истории он, поднявшись по Ловати, переходит волок и достигает Днепра. Здесь Олег захватывает Смоленск и идет к Киеву. А теперь еще раз взгляните на карту: как видим, Смоленск по-прежнему находится вверх по Днепру в стороне от пути Новгород — Киев. Таким образом, если верить традиционной истории, Олег повторяет странные действия Аскольда и Дира. Но если Новгород — это Ярославль, тогда Смоленска Олегу не миновать.

Нотарий короля Белы, писавший, как считают, в XIII веке на темы древневенгерской истории, рассказывая о походе угров через Киев (поход этот происходил в конце десятого века), упоминает в своем рассказе о воеводах киевских и суздальских, которые заплатили угорскому вождю Ольме (Альме) выкуп за то, что тот уведет свои войска дальше на запад.

Суздаль в IX веке, согласно традиционной версии, еще не существовал. Но если поверить венгерскому автору, то упоминание им города из региона северо-восточной Руси (а не более близкого к Киеву), говорит о многом.

А теперь посмотрим на события времен князя Владимира. При нем в поход на крымский Херсонес ходили в числе прочих и новгородцы, это отмечают некоторые русские летописи. Герберштейн, продолжая эту тему, сообщает, что тем временем восстали новгородские рабы — холопы, укрепившись в так называемом холопьем городе. Где же располагался этот город? Оказывается, на территории Ярославской губернии, на берегу реки Мологи. Вопрос: что в такой дали от Новгорода эти холопы забыли? Карамзин отвергает эту историю на основании того, что ... «в летописях новгородских нет ни слова о сем мнимом возмущении рабов». (!) Впрочем, иного от традиционного историка ожидать нельзя, иначе ему пришлось бы всерьез задуматься о месторасположении древнего Новгорода.

В Иоакимовой летописи, рассказывающей о введении христианства в Новгороде, сообщается, что воевода Путята во главе ростовцев силой заставлял креститься новгородцев. Ростов находится в 60 километрах от Ярославля, а вот от современного Новгорода — сотни и сотни километров по бездорожью.

Крещение Новгорода произошло в 990 году, на следующий год пришлось эту процедуру повторить: на севере христианство прививалось плохо. Но вот что пишет Иоакимова летопись о вторичном истреблении языческих идолов в Новгороде. Туда отправились, вместе с епископом Иоакимом, Добрыня и тысяцкий Путята с войском. Остановившись в Ростове они усилили свое войско ростовцами. Но это же гром адный крюк! А вот если подразумевать под Новгородом Ярославль, то Ростова крестителям, действительно, было не избежать.

Вот еще интересные события, связанные с этим новгородским посадником Добрыней. В 985 году «пошел Владимир на болгар В ЛАДЬЯХ с дядею сво им Добрынею, а торков привел берегом на конях». Не знаю, как у вас, но у меня от такого текста возникают неудобства. Если придерживаться версии о традиционном расположении Новгорода, то все непонятно. К примеру: почему в походе участвовали далеко живущие от Волги

новгородцы? А где же все остальные, в первую очередь жители Верхней Волги — воины из Ростова, Мурома и др.? Но если принять за Новгород волжский Ярославль, то никаких противоречий при чтении этого текста уже не возникает.

Очень любопытно проанализировать список городов, переданных Владимиром своим сыновьям. Вот они: Новгород, Полоцк, Туров, Ростов, Муром, Владимир, Тмутаракань. Плюс Святослав получил древлянскую землю без упоминания какого-либо города (отсюда вывод: центр древлянской земли был незначительным географическим пунктом). Но в более широком Академическом списке фигурируют еще Суздаль, Смоленск и Плесков. Из десяти городов к Северо-Восточной Руси можно отнести ШЕСТЬ: Новгород, т.е. Ярославль, Ростов, Муром, Владимир, Суздаль и Переяславль (Залесский, стоящий на Плещееве озере).

Синопсис, описывая период крещения Руси, сообщает, что Владимир вместе с епископами ездил в Суздальскую, Ростовскую и Новгородскую область. Так и хочется заменить область Новгородскую на Ярославскую: просто взгляните на карту — Суздаль, Ростов и Ярославль стоят рядышком друг с другом, а вот Новгород — далеко в стороне.

А вот что утверждает Степенная книга: «Приидоша из Царяграда три епископа, Иаким, Феодор, Фома. Владимер же, взем, иде во страны Суздальския и Ростовские и остави епископа Феодора в Суздали. Иде в Ростов и тамо остави епископа Фому. Оттуду иде в Новград и, крестя, остави епископа Иакима». Вот с этим-то утверждением историки почему-то не согласны. Потому, что «в Суздале епископии не было до Юрия 3-го, а сей Феодор был во Владимире на Волыни». А может, историки, как всегда, заблуждаются, и речь шла не о Владимире Волынском, а о Владимире на Клязьме, который также назывался и Владимиром Суздальским (потому, что расположен совсем рядышком с Суздалем)? И фрагмент из Степенной книги — это не уничтоженный реликт настоящей летописи?

То, что Владимир-на-Клязьме был основан не Владимиром Мономахом, а его прадедом, крестителем Руси князем Владимиром Святым, подтверждает даже Никоновская летопись, которая сообщает, что в 992 году князь Владимир ходил в Суздальскую землю, крестил там народ и поставил на реке Клязьме город «в свое имя Володимер». Под 1160 годом в этой же летописи отмечено, что Андрей Боголюбский, созвав князей и бояр, держал перед ними речь о своем желании сделать Владимир своей столицей: «Град сей Владимир созда Святый и блаженный великий князь, просветивый всю Русскую землю святым крещением». Этот же год фигурирует и в Синопсисе, а также у Татищева. Ипатьевская летопись основание Владимира относит к 990 году, а Софийская первая — к 987 году. Традиционное определение основания Владимира в XII веке подтверждено лишь в более поздних летописях, но это оказалось для традиционных историков достаточным основанием для столь неверной датировки. Решающим фактором при решении этого вопроса стало географическое положение города: слишком много-де оказывалось городов в Северо-Восточной Руси для столь раннего периода, в то время, как наша история начиналась, как считается, в Новгороде Ильменском и Киеве — городах других регионов.

А может быть, Северо-Восточная Русь и впрямь была заселена гораздо плотнее, чем принято считать? Наши традиционные историки, кстати сказать, всегда много времени уделяют поискам причин, обусловивших возвышение Москвы. Любопытно привести мнение признанного дореволюционного историка Любавского. «Колонизационное движение с юга, как известно, шло наиболее усиленно во второй половине XII и первой половине XIII века. Между тем, за это время бассейн Москвы-реки, по всем признакам, не наполнялся населением». Если не наполнялся, то, может быть, и не было этого колонизационного движения с юга? Кстати, Любавский отрицает какое-либо массовое движение переселенцев с юга в татарский период, считая, что в это время переселенцы шли только с севера и северо-востока. Но откуда появилось это значительное население на северо-востоке? Нельзя же всерьез считать, что южные переселенцы в дотатарский период

проходили через бассейн Москвы-реки, не оседая там даже частично! Скорее всего, район Северо-Восточной Руси был относительно плотно заселен уже в начале русской истории.

Тому, что при раздаче князем Владимиром уделов сыновьям речь шла о Владимире Суздальском, а не о Волынском, есть еще одно косвенное подтверждение, которое можно встретить у известного историка XIX века Иловайского. Нет, Иловайский, конечно же, ничего против традиционной истории не имел, будучи одним из столпов ее. Но, сам того не ведая, ненароком подтвердил сомнения своих читателей, по крайней мере, мои. Вот что он пишет, перечисляя уделы сыновей князя Владимира: «...а древлянскую или волынскую землю РАЗДЕЛИЛ между Святославом и Всеволодом, предоставив последнему Владимир Волынский...». Напомню читателям, что «Повесть временных лет» перечисляет сыновей Владимира и полученные ими уделы, каждому достается своя, отдельная часть Киевской Руси, но Святославу и Всеволоду, по Иловайскому досталась одна земля на двоих. Но это верно, если речь идет о Владимире Волынском...а если о Владимире Суздальском?

Правда, может возникнуть контрвопрос: я придрался к разделу древлянской земли на два удела, что вытекает из традиционной версии, а между тем, по моей альтернативной версии, сыновья князя Владимира получают в удел не две, а целых пять частей Ростово-Суздальского края: Ярославль, Ростов, Владимир, Суздаль и Переяславль! Отвечу: согласно традиционной версии, древлянская земля не имеет стольного города, т.е. незначительна. А выделение из Северо-Восточной земли 5-6 городов как раз и свидетельствует о развитии этого края и значимости его городов.

И еще в продолжение этой темы. Опять по Иловайскому: «В личном своем управлении и попечении Владимир удержал, конечно, область Киевскую. На юге эта область граничила со степями, в которых кочевали хищные печенеги». Вот одна из причин, почему южные города не получили такого развития, в отличие от северорусских, а также еще один пример относительной слабости южной Руси: на границах СТОЛИЧНОЙ области кочевали степняки.

НОВГОРОД ДОМОНГОЛЬСКИХ ВРЕМЕН

Из событий одиннадцатого века доказательств в поддержку альтернативной версии практически нет — слишком хорошо поработали правщики истории. Впрочем, сие не удивительно: именно в этот период и началась создаваться правленая русская история. Князь Ярослав из Окаянного стал Мудрым, а его правление — чуть ли не золотым веком. Правду о Ярославле скрывали по-разному: замазывались какие-либо события, связанные с этим городом, а когда это сделать было трудно, просто переправляли события с берегов Волги на берега Волхова. Боясь одновременного появления двух Новгородов на страницах летописей (а по традиционной версии, двух Новгородов быть не должно, был всего один Новгород — на Волхове) в некоторых сообщениях Новгород (Ярославль) заменили на соседний Ростов.

В Лаврентьевской летописи сказано: «И бы тогда Ярослав Новегороде лет 28». В других летописях: «беже тогда Ярослав лет 28». Это говорится о событиях 1016 года.

У князя Ярослава было много младших братьев, а это значит, что он однозначно не мог родиться в 988 году, в этот год Русь была крещена, а Владимир женился на греческой принцессе. Отсюда следует, что Ярослав родился явно ранее 988 года. Поэтому эту фразу следует понимать как то, что Ярослав княжил в Новгороде 28 лет, с 988 года. Но считается, что в этом году он стал князем РОСТОВСКИМ и лишь после смерти Вышеслава — новгородским. Таким образом, в первоначальном варианте летописи сообщалось, что Ярослав получил в удел Новгород=Ярославль (где он и прокняжил 28 лет), а потом город исправили на Ростов.

Во многих летописных списках говорится, что Ростислав, внук Ярослава Мудрого, перед княжением в Тмутаракани жил в Новгороде, а вот Татищев утверждает, что

Ростислав княжил в Ростове и Суздале. Если Новгород — это Ярославль, то Татищев действительно прав. Кстати, Соловьев также подтверждает мнение Татищева.

А вот довольно интересные события, произошедшие в 1096 году. Олег Святославич подошел к Мурому, где сидел сын Мономаха Изяслав. «И послал Изяслав за воинами в Суздаль, и в Ростов, и за белозерцами, и собрал воинов много. И послал Олег послов своих к Изяславу, говоря: «Иди в волость отца своего к Ростову, а это волость отца моего». Произошло сражение, в котором Изяслав был убит. Его останки были похоронены в Новгороде. Сразу встает вопрос: почему там, так далеко, а не в соседней ростовской земле? Расстояние от Ярославля до Ростова всего 60 километров, а от Ростова до Новгорода уже 500 км по бездорожью.

Олег на этом не останавливается и захватывает Суздаль и Ростов. «Возгордившись успехами, Олег затевал подчинить своей власти и Новгород, где на княжении был другой сын Мономаха, Мстислав». Послав вперед своего брата, Олег с войском встает в поле у Ростова, но при подходе войск Мстислава бежит. Вот вкратце вся история. Конечно, вполне возможно, что в этом случае речь идет о Новгороде Ильменском, но если вместо Новгорода вписать Ярославль, то картина событий от этого станет гораздо компактнее.

Копаясь в трудах Татищева, я нашел в примечаниях к Академическому списку «Повести временных лет» маленькую сноску, касающуюся событий 1127 года. «В то же время посла князь Мстислав братию свою на кривич четырмя пути: Вячеслава ис Турова, Андрея из Володимеря, Всеволода из Городца, Изяслав Ярославич из Луцка. Тем повеле ити ко Изяславлю, Всеволоду же, сыну своему, из Новагорода ко Неключу, Всеволоду Ольговичю повеле ити из Чернигова своею братьею на Стрежев к Борисову...». Это текст летописи. А вот сноска: «Ошибка, вместо дрегвич кривичи написаны».

Как видите, сноска маленькая, совсем незаметная, она сообщает, что древний летописец вместо племени дреговичей написал кривичей. Действительно, география названных городов свидетельствует о местности, относимой к племени дреговичей, но никак не кривичей, живших к востоку от них.

Итак, летописец ошибся? Может быть, но лишь при условии, что Андрей шел из Владимира Волынского, Всеволод из Городца, а другой Всеволод из Новгорода Ильменского. Впрочем, а почему эти два Всеволода — не одно и то же лицо, княжившее в Новгороде-Ярославле? Городец, как и Новгород Ильменский, был одним из городов-фантомов Ярославля. А упоминаемый Владимир мог быть не городом на Волыни, а Владимиром-на Клязьме. И этому есть маленькое косвенное подтверждение. В 1125 году, согласно той же летописи, княжили: «...Георгий в Суздали и Ростове, Андрей в Володимери». В списке княжеств Владимир стоит в самом конце списка РЯДОМ с Суздалем и Ростовом, городами Северо-Восточной Руси. Совпадение?

Если нет, то летописец не ошибся. Те, кто правил наши летописи, подредактировав географию событий 1127 года, не вписали дреговичей вместо кривичей. И все их труды по исправлению этого эпизода нашей истории оказались напрасными.

Новгородский князь Всеволод в 1131 году идет в поход против чуди. Летописи сообщали, как писал Соловьев, что «перебили много добрых мужей новгородских в Клину: Клин — это русский перевод эстонского слова Waija, или Wagja, как называлась часть нынешнего Дерптского уезда в XШ веке».

Итак, нас хотят убедить в том, что русские жители называли соседние чудские земли в переводе с эстонского. «Как там переводится название этой волости? Клин?» Так давайте же по-русски переводить и названия прибалтийских, польских, венгерских городов и местностей! Но таких примеров история не дает.

В данном случае, на мой взгляд, речь в действительности шла о походе ярославского войска против жителей района Клина — города, расположенного между Тверью и Москвой. Именно в этом районе жила голядь — племя, покоренное только во второй половине XI века. И если признать Клин находящимся в том месте, где он сейчас расположен, то встает вопрос: что там делали новгородцы? Эта территория относилась к

Владимиро-Суздальскому княжеству, но никак не к Новгородскому. Поэтому и пришлось традиционным историкам неуклюже придумывать переводы с эстонского. Хорошо, хоть не с японского.

В 1169 году, во время войны Андрея Боголюбского с новгородцами, победа осталась за последними, но досталась тяжелым путем: из-за опустошения окрестностей Новгорода в нем начался голод, а хлеба, оказывается, можно было достать только «из областей Андреевых». Андрей Боголюбский, как известно, правил во Владимирском княжестве (это города Владимир, Ростов, Суздаль и др.). Новгородское княжество действительно граничит на востоке с Владимирским, но на юге — широкой ЧЕТЫРЕХСОТКИЛОМЕТРОВОЙ полосой — с Полоцким и Смоленским княжествами. На юге, как известно, всегда с хлебом лучше, чем на северо-востоке. Но традиционные историки хотят уверить нас в хлебной блокаде!

Зато Ярославль, действительно, окружен со всех сторон землями Боголюбского, который прекрасно мог полностью перекрыть сюда подвоз хлеба и, в первую очередь, из Поволжья. А вниз по Волге была расположена Волжская Булгария, где в те времена ее главным предметом экспорта был как раз хлеб.

В 1173 году произошла ссора владимирского князя Андрея Боголюбского с Ростиславичами, захватившими Киев. Андрей собирает войско: «собрались ростовцы, суздальцы, владимирцы, переяславцы, белозерцы, муромцы, новгородцы и рязанцы».

О каких переяславцах идет речь? Естественно о жителях Переславля-Залесского, город уже был основан, и здесь традиционные историки уже могут с чистой совестью признать в них жителей Залесского. Впрочем, Карамзин в своей «Истории» стыдливо выпускает переяславцев из этого списка, видимо, прекрасно понимая, к каким нежелательным выводам и вопросам может привести этот факт. Ведь Переяславль, по традиционной версии, был основан только за 21 год до описываемых событий, а следовательно, должен был быть еще крохотным поселением. А раз так, то не могли еще переяславцы фигурировать в этом списке. Тем более: почему же в нем нет москвичей? Москва ведь основана раньше Залесского (это, конечно, по традиционной версии истории).

Карамзин и до этого имел проблемы с Переяславлем. Согласно летописным данным, Переяславль Южный был основан князем Владимиром в 993 году на месте победы над печенегами. Вот что об этом писал Карамзин: «Обстоятельство, что Владимир основал Переяславль, кажется сомнительным: ибо о сем городе упоминается еще в Олеговом договоре с греками в 906 году». Увы, осторожный Карамзин оказался не прав: летопись не солгала, Переяславль Южный действительно был основан в конце X века, а в договоре с греками упомянут Переяславль Залесский.

Но вернемся в 1173 год. Посмотрите хорошенько на весь список ополчения. На место новгородцев географически так и просятся ЯРОСЛАВЦЫ.

Через два года после смерти Боголюбского его брат Михаил, владимирский князь, умирает в Городце Волжском. На освободившийся стол претендуют два князя: его брат Всеволод Большое Гнездо (князь переславский) и племянник Мстислав, княживший в Новгороде. Узнав о смерти Михаила, жители Ростова отправили в Новгород посланцев с предложением Мстиславу на княжение, в то же время владимирцы признали князем Всеволода, который в спешке посылает в Переславль за подмогой. Войска соперников сходятся у города Юрьева, который находится как раз посередине между Владимиром, Ростовом и Переславлем. Сражение выигрывает Всеволод, а Мстислав бежит в Ростов и далее в Новгород. Когда владимирцы у Юрьева соединились с переславцами, то последние сказали Всеволоду следующее: «Ты Мстиславу добра хотел, а он головы твоей ловит, так ступай, князь, на него, а мы не пожалеем жизни за твою обиду, не дай нам бог никому возвратиться назад; если от бога не будет нам помощи, то пусть, переступив через наши трупы, возьмут жен и детей наших; брату твоему еще ДЕВЯТИ ДНЕЙ НЕТ, КАК УМЕР, а они уже хотят кровь проливать».

А теперь взгляните на карту. Городец находится на востоке от места описываемых событий, от Городца до Ростова 240 километров по прямой, от Ростова до Новгорода — почти 500, а от Ярославля всего 60 км. И, наконец, от Ростова до Юрьева около 90 км.

Итак, гонец с сообщением о смерти Михаила скачет в Ростов (если через Владимир, то это еще плюс 80-90 км.), оттуда в Новгород на Волхове, из Новгорода Мстислав едет в Ростов, собирает войска и идет к Юрьеву? И все это УКЛАДЫВАЕТСЯ В 9 ДНЕЙ!? Лично у меня такое не укладывается в голове.

Зато если Новгород — это Ярославль, то в девять дней уложиться как раз можно. Кстати, после поражения Мстислав бежит в Новгород через Ростов, а это точно на пути в Ярославль.

Внук Ярослава Мудрого, Глеб Святославич был в 1178 году князем новгородс ким, но был изгнан и убит чудью в Заволочье (восточнее Белоозера). Каким же Новгородом правил Глеб: Ильменским или Ярославским? Я выбираю второй.

В 1215 году Ярослав Всеволодович, получив власть в Новгороде, приказал схватить двух неугодных ему бояр и зато чил их в Твери. В Твери или в Тверицах? Мы знаем, что Тверицы — старинный пригород Ярославля.

В этом же году произошел неурожай в Новгородской земле, начался голод. Ярослав не пропускает в Новгород обозы с хлебом из Низовой земли (то есть из Поволжья). А г де же хлеб с юга? Такая ситуация могла быть только в том случае, если под Новгородом подразумевается Ярославль. Как видите, вновь повторяется случай 1169 года.

Как правили исторические документы? Как правило, в тексте исправляли название города, если, конечно, оно не было привязано конкретно к какой-либо местности, способной разрушить труды правильщиков истории. Название Ярославль зачеркивали и писали Новгород, а если в летописи шло два названия: «Новгород Ярославль», то просто зачеркивали Ярославль. Но с летописными событиями 1218 года у правильщиков вышла незадача. Судите сами.

Согласно традиционной истории, в 1218 году ярославским князем становится Всеволод, сын великого князя Константина. Сыновья великих владимирских князей частенько становились новгород скими князьями, а здесь почему-то вышло иначе. О таком событии, естественно, писали летописцы Северо-Восточной Руси. Южнорусские летописцы, как правило, ограничивались событиями своего региона, а о событиях отдаленных писали редко и с опозданием.

Так вот, по данным южных летописцев, в 1219 году в Новгороде сменился в очередной раз князь. Им стал Всеволод, сын великого киевского князя Мстислава Романовича. Итак, в Ярославле — Всеволод, сын великого князя, и в Новгороде — Всеволод, сын великого князя... Что же произошло с летописями на самом деле?

Южнорусский летописец написал с опозданием в год о вокняжении в «Новгороде Ярославле» Всеволода, сына великого князя, через какое-то время летопись подправили, вычеркнув, как обычно, слово «Ярославль» и соотнеся, так им образом, эти события с Новгородом Ильменским. Но получилась нестыковка северных и южнорусских летописей: Всеволод одновременно оказался князем и ярославским, и новгородским. Поэтому Всеволода более поздние историки отожествили с его тезкой, тоже сыном великого князя, но не владимирского, а киевского.

Любопытно посмотреть, что же творилось в Новгороде дальше. В 1221 году новгородцы выгоняют киевского Всеволода и приглашают еще одного Всеволода, третьего по счету, уже сына нового владимирского князя Юрия В севолодовича. В этом же году этот Всеволод почему-то бежит из Новгорода, но в 1224 году возвращается. На самом же деле в 1221 году был изгнан из Ярославля (т.е. Новгорода) Всеволод Константинович, а Всеволод Юрьевич пришел туда в 1224 году.

История с уходом Всеволода киевского выдумана — не мог он уйти оттуда, где никогда не был, но раз в истории он фигурирует как новгородский князь, то Новгород он

ДОЛЖЕН покинуть не позже 1221 года — реального года ухода из Ярославля Всеволода Константиновича.

Странные действия Всеволода Юрьевича, пришедшего, согласно традиционной версии истории, в Новгород в 1221 году, почему-то тут же бежавшего и вновь через три года возвратившегося, становятся понятны из малоизвестного факта: в 1221 году Ярославль сгорел дотла. Судя по всему, ярославцы просто выгнали сына великого князя, за что город и поплатился.

Рассказ о ярославском пожаре 1221 года сам по себе довольно примечателен. Судите сами: «Сгорел почти весь город Ярославль и 17 церквей; но дворец княжий уцелел». То есть, надо полагать, сгорели далеко не все церкви. Много это или мало — 17 церквей? Вот что сообщают летописи о пожаре 1227 года в СТОЛИЦЕ — городе Владимире: «Сгорел город Владимир, 27 церквей и дворец Константинов с бывшею в ней церковью Св. Михаила». Но при дворце была не одна церковь, потому что при пожаре 1229 года «сгорел в Владимире княжеский дворец и 2 церкви».

Вот два больших пожара в крупном Ростове, который был столицей княжества (из Ростовского княжества, кстати, по традиционной версии, в 1218 году и выделилось Ярославское княжество). В 1211 и 1408 годах в этих пожарах сгорело соответственно 11 и 14 церквей. Наличие такого БОЛЬШОГО количества церквей, по мнению наших историков, «свидетельствует о масштабах ростовского городского строительства» (по Козлову и Анкудиновой).

А что же сообщают летописи о пожарах в самом Новгороде? При пожаре 1217 года, когда сгорела значительная часть города, правда, не вся, сгорели 15 церквей, в том числе и каменные. То есть, пожар был сильным. Таким образом, по числу церквей Ярославль стоит на том же уровне, что и Владимир, и Новгород традиционных историков. Но ведь, согласно традиционной истории, Ярославль начала XIII века — еще небольшой город, только с 1218 года ставший центром маленького Ярославского княжества. Для такого города странны сообщения летописей, что в 1215 году «Константин основал в Ярославле на СВОЕМ дворе каменную церковь Успения», и что уже в следующем году «Константин заложил в Ярославле каменную церковь и монастырь Св. Преображения». Две каменные церкви и монастырь за два года в городе, который еще не стал центром маленького удельного княжества?

Кстати, о пожаре 1221 года. Не потому ли остался цел княжеский дворец, что был он расположен на левом берегу Волги, в районе под названием Тверицы? Известно ведь, что Ярославль занимает в основном правобережье Волги....

Любопытно сообщение 1393 года о смерти ярославской игуменьи Ульяны, начальствовавшей над 90 черницами. Даже по нынешним временам девяносто монашек для женского монастыря — цифра громадная.

В 1224 году немцы взяли в осаду и после приступа захватили прибалтийский Юрьев. Все защитники города были убиты. В живых остался лишь некий СУЗДАЛЬСКИЙ боярин, которого немцы и отправили в Новгород с известием о случившемся. На помощь Юрьеву в это время уже шло новгородское войско. Точкой отправления его мог быть, естественно, только Новгород. Но новгородцы, дойдя до ПСКОВА, узнали о падении Юрьева и вернулись обратно.

Да, суздальцы могли быть и в Новгороде, и в Юрьеве, и даже в Риме. Но, как правило, купцы. А что делал в Юрьеве суздальский БОЯРИН? Если бы речь шла о соседних с Суздалем ярославских землях, то здесь такой вопрос уже не встал бы...

СОБЫТИЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЛЕТ

В летописях сказано, что монголы шли к Ярославлю, но о его взятии — ни слова. К Новгороду они тоже пошли, но не взяли.

Под 1239 годом Новгородская первая летопись сообщает: «Того же лета князь Александр с новгородци сруби городци по Шелони». Шелонь — река между Новгородом Ильменским и Псковом. В то же время Пошехонье — старинный город на севере Ярославской области, а район Пошехонии упоминается со времен Ивана Грозного. Где Александр Невский срубил городки? По Шелони — или по Шехони (Шексне)? Как видите, ответить уже трудно.

Для сторонников традиционной истории козырем против совмещения Ярославля и летописного Новгорода являются строки о событиях 977 года. «Владимир в Новгороде услышал, что Ярополк убил Олега, то испугался и бежал за море». Это из «Повести временных лет». Традиционная история, принимая за летописный Новгород современный северный город, однозначно говорит о Балтийском море: Владимир-де бежал в Швецию. Это естественно, Швеция не так и далека. А как быть в случае с Новгородом-Ярославлем? Здесь и Швеция, и Тмутаракань далеки. Но вот что пишут летописи о событиях 1252 года: «приде Неврюй царевич ратью татарскою на Суздаль, и прогна Андрея Ярославича за море в Свею». Свея — это Швеция. А Суздаль будет еще подальше от заморской страны, чем Ярославль. Когда становится страшно, то большое расстояние перестает быть помехой для бегства за море. И знаете, уважаемые читатели, меня так и подмывает попробовать заменить в этой летописной фразе Суздаль на Новгород. Почему? К такому действию склоняет легкость рассказа летописца, здесь так все просто, как будто Суздаль находится в Новгородской земле, и до моря рукой подать.

Поменяв Ярославль на Новгород Ильменский, правщики истории смысловую картину отдельных событий истории оставили прежней. А теперь вы совершите обратные действия, возьмите ту же «Повесть временных лет» и замените различные упоминания Новгорода на Ярославль. Что изменится в смысловом отношении? Ничего! А после прочтения несколько раз этой слегка измененной «Повести» в голове читателя вскоре отложится принципиально новая картина истории, где вторым центром Руси после Киева логично оказывается Ярославль. Попробуйте, и вы в этом убедитесь.

А вот еще про море. Буровский в «Русской Атлантиде», говоря о событиях пятнадцатого века, пишет весьма интересные слова: «К тому же заморскими в XV веке называют и сухопутные страны, куда можно проехать посуху: Францию, Германию». Следовательно, в нашем вопросе фразу «испугался и бежал за море» можно заменить на аналогичную по смыслу: «испугался и бежал за тридевять земель».

Троицкая летопись сообщает: «В лето 6782 приде митрополит Кирил из Кыева, приведе с собою архимандрита печерьскаго Серапиона, и постави его епископом Ростову, Володимерю и Новугороду». Сообщение более, чем странное, так как, по сообщениям других летописей, в это время ростовским епископом был Игнатий. Что же говорит об этом традиционная версия? По мнению ее адептов, во-первых, речь идет о Нижнем Новгороде, а во-вторых, в этом 1274 году митрополит Кирилл провел во Владимире церковный собор, на котором Серапион был поставлен епископом Владимира. Такое мнение основывается на сообщении Кормчей книги. Однако об этом соборе, по словам Карамзина, «не знал ни сочинитель нашей церковной истории, ни автор Иерархии». Отсюда вывод: утверждения Кормчей книги — более поздняя вставка, а Серапион возглавил ярославскую, т.е. новгородскую церковь.

Под 1311 годом летописи сообщают, что «князь Дмитрий Михайлович Тверской, собрав воя многи и хоте ити ратью к Новугороду на князя Юрья, и не благослови его митрополит столом в Володимери: он же стояв 3 недели, ВОЗВРАТИСЯ в землю свою». Итак, речь идет о тверском и владимирском князе Дмитрии Михайловиче и князе московском Юрии Даниловиче? Сообщение для традиционной версии более, чем непонятное. Традиционный Новгород расположен абсолютно в противоположной стороне от пути следования тверского князя. А то, что тверской князь пришел во Владимир из Твери, подтверждено словами летописи: после стояния во Владимире он ВОЗВРАТИЛСЯ к себе обратно. То есть княжил он все же не во Владимире, иначе зачем было ему

ВОЗВРАЩАТЬСЯ. Правда, в ряде летописных списков уточнен этот Новгород: Новг ород Нижний. Но в это время в Нижнем правил князь Михаил Андреевич. Следовательно, там не могло одновременно быть двух князей, тем более: что в Нижнем делать московскому князю? Московский князь мог быть или на своей вотчине — в Московском княжестве, или, как это часто бывало в истории, в Великом Новгороде. Тупиковая ситуация легко разрешается, если признать, что Новгород — это Ярославль. Тогда понятен поступок тверского (он же владимирский) князя, прибывшего из Твери во Владимир для похода на Ярославль.

В 1319 году в Орде (по оговору соперника, Юрия Московского) убит великий князь Михаил Тверской. Тело Михаила привезено в Москву, где и похоронено. По просьбе детей убитого Юрий согласился вернуть останки Михаила в Тверь. «Вдовствующая великая княгиня Анна и Дмитрий Михайлович с братьями выехали по Волге в ладьях на встречу к гробу Михаила». Итак, тело везут из Москвы, а из Твери к нему плывут в ладьях. Взгляните на карту — и вы убедитесь, что это полная ахинея. ПЛЫТЬ по Волге от Твери В ЛЮБУЮ СТОРОНУ — значит удаляться от Москвы. Есть, правда, вариант для полных дураков: везти тело по воде: по Москве-реке, далее Окой до Нижнего Новгорода и Волгой до Твери. Интересно, какой вариант выберут наши традиционные историки? В действительности, скорее всего тело было погребено в Ярославле: здесь речной путь самый короткий и логичный.

В 1320 году великий князь Юрий (Георгий) Данилович, согласно летописям, приехал в Ростов, а оттуда поехал в Новгород. Возможно, ему что-то понадобилось в Ростове и он сделал крюк, но следует учесть и то, что дорога из Москвы в Ярославль проходит через Ростов.

В 1324 году он же совершает еще больший крюк: идет в Орду, но на него нападает князь Александр Михайлович и отбирает всю казну. Юрий бежит в Псков, далее в Новгород, оттуда на Неву и Устюг и уже оттуда с северо-востока по Каме идет в Орду. Проще было бы бежать на Устюг через Переславль-Залесский и Ярославль.

В 1322 году посол хана Узбека, некий Ахмыл «взял Ярославль как неприятельский город». Ахмыл — обычное татарское имя, но столь редкое для летописей упоминание Ярославля заставляет повнимательней присмотреться к этому имени. И вот в длинном списке новгородских посадников неожиданно выплывает аналогичное имя — Федор Ахмыл. Мало того, он оказывается ровесником этих событий! В 1332г. у него было отнято посадничество. По временному интервалу, как говорится, «попадание в яблочко». Но больше о нем ни слова, не знаем мы и время его правления в Новгороде. Зато известно, что до него по этому же списку посадниками были Варфоломей Юрьевич, а еще ранее — Семен Климович.

Почему Варфоломей Юрьевич считается предшественником этого самого Ахмыла? В декабре 1331 года в Новгород приехал архиепископ «и рады были новгородцы своему владыке» и, обратите внимание на завершение фразы: «а при князе Иване, при посаднике Варфоломее, при тысяцком Астафии». Именно из-за этой странной фразы и считается, что в 1331 году в Новгороде правил посадник Варфоломей. Далее идет хроника 1332 года, которая начинается с информации о смещении Ахмыла. Варфоломей же еще несколько раз упоминается в последующих годах летописи. Из чего можно сделать вывод, что Варфоломей правил не до, а ПОСЛЕ Ахмыла. Посадник Семен Климович упомянут посадником в 1315 году, когда он получил эту должность. Даты его смещения нет.

Таким образом, Ахмыл мог стать посадником в широкий отрезок времени с 1315 до 1332 года. Взятие в 1322 году неким татарином Ахмылом Ярославля как раз вмещается в этот промежуток времени. Из всего этого вполне логично вытекает, что в 1322 году татарин Ахмыл захватил Ярославль=Новгород и правил в так называемой должности посадника до 1332 года. В крещении Ахмыл получил имя Федор. Вот так и появился в летописях новгородский посадник Федор Ахмыл.

Как на данный вывод может возразить традиционная история? Совпадение имен, в том числе по времени? Или, что посадник Федор получил кличку Ахмыл в честь захвата татарином Ахмылом далекого от Новгорода Ярославля? Несерьезно.

Известен любопытный факт: в 1328 году ярлык на великое княжение получил Калита, но само великое княжение хан Узбек разделил поровну, боясь усиления кого-либо, отдав Новгород и Кострому Калите, а Владимир и Поволжье Александру Суздальскому. Взгляните на карту: вместо Новгорода так и просится туда Ярославль. То есть Калита получил соседние Ярославль и Кострому, а Александр — Владимир и Поволжье, тоже расположенные рядом.

В 1329 году Иван Данилович ведет войско на Псков, выступив из Новгорода. Три недели спустя войско уже располагается у Опок: «а хожения его от Новагорода до Опокы три недели». А теперь взгляните на карту: идти из Новгорода к Пскову через Опоки, все равно, что добираться из Москвы в Петербург через Киев. С какой же скоростью двигался князь Иван Данилович? Всего-то 11-12 километров в день. Карамзин понимая нелепость такой вот загогулины пути князя, писал: «Нынешний город Опочка совсем не по пути от Новгорода к Пскову: здесь говорится о другом месте». О каком? Ответа, естественно, нет. Но если согласиться с мнением этого историка и разместить некий город Опоки на пути от Новгорода к Пскову, то скорость движения войска упадет до 5 километров в день, а это уже не лезет ни в какие ворота. Карамзин был человеком умным, он это тоже понимал, поэтому специально написал: «Великий князь шел медленно к их границам».

Каково же решение этой задачи у альтернативной версии истории? Как всегда, довольно простое. Иван Данилович вел войско на Псков из Ярославля! Опочка стоит на реке Великой, текущей в Псковское озеро через Псков. Если принять среднюю скорость войска за 30 км в день, оно должно было пройти за три недели 630 километров. Каково расстояние между Ярославлем и Опочкой? 680 километров! Арифметика — и та выбирает альтернативную версию истории.

Новгородские ушкуйники-грабители нападали на города Северо-Восточной Руси. Известны случаи, когда они громили Кострому и Нижний Новгород. Вот что пишет Троицкая летопись о событиях 1366 года: «Пройдоша Волгой из Новагорода из Великаго 150 ушкуев ноугородци разбойници уйкуйници, избиша татар множество, бесермен и ормен в Новгороде в Нижнем». Здесь ушкуйники били иноземцев, но чаще под их горячую руку попадались русские жители. Вот в летописях читаем о походе новгородских удальцов в 1374 году: «подоша вверх по Волзе и дошедше Обухова, пограбиша все Засурье и Маркваш и перешед за Волгу, суда все иссекоша, а сами пойдоша к Вятке на конех и много сел по Ветлузе, идуще, пограбиша».

Прежде всего вопрос: откуда взялись кони, разбойники же приплыли на 40 ушкуях, которые все потом и «иссекоша»? Неужели ушкуйники могли беспрепятственно доплывать до столь отдаленных от Новгорода городов? На пути разбойных ватаг лежали столичные города: Тверь, Углич, Ярославль, Кострома, Нижний, но сквозь них разбойники свободно проосачивались, как через сито. Согласно традиционной истории, Вяткой и всеми землями к северу владел Великий Новгород. Зачем плыть через все эти крупные города, когда проще было бы сделать набег со стороны вятских владений Великого Новгорода? Здесь риска намного меньше. Но зато, если Новгород — это Ярославль...

Интересная ситуация сложилась в 1434 году, когда после смерти князя Юрия, дяди и соперника Василия Темного, Василий Косой бежит из Москвы в Новгород. Спутником Косого становится князь Роман Переяславский. Конечно, Косой мог захватить с собой этого Романа еще в самой Москве, но, скорее всего, его путь пролегал из Москвы в Ярославль, а Переяславль-Залесский находится как раз на этом пути, в отличие от маршрута Москва — Новгород Ильменский. Не случайно уже в Новгороде (т.е. в Ярославле, по нашей версии) Роман Переяславский пытался бежать от Косого, но был схвачен и казнен. Ситуация с побегом наиболее объяснима именно во втором варианте:

Роман захвачен Косым по дороге в Переяславле и силой увезен в Новгород, то есть в Ярославль.

Далее в действиях Косого также много странного. «Косой, шед на Кострому, нача собирати воя...и приеха в Новгород...и пойде и пограби по Мсте реце и по Бежецком Верху и по Заволочью...и пойде с Костромы со многими силами к Москве». Вы что-нибудь понимаете? Здесь просто ошибка правщиков истории, не знающих географии. Они с целью завуалировать Ярославль просто приписали в текст несколько традиционных новгородских городов, посчитав, что упоминаемый Новгород будет надежней смотреться в компании с новгородскими городами. А с Костромой крупно ошиблись, оставив ее в этом списке.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ДВУХ РЕГИОНОВ

Для традиционной истории нет необходимости производить такое сравнение: согласно ее догмам, Великий Новгород — крупнейший торговый город Европы, а регион Северо-Восточной Руси получил свое развитие только со второй половины двенадцатого века.

Вот что пишет о Новгороде А.В. Экземплярский в своем труде «Вели-кие и удельные князья северной Руси в татарский период»: «Благосостояние Новгорода происходило не от главного общеславянского занятия хлебопашеством, для которого неудобна была болотистая почва занятой новгородскими славянами территории, но от других причин, и прежде всего от торговли... Выгодное положение Новгорода при выходе Волхова из озера Ильменя, в северной части великого водного пути «из варяг в греки» само собою определяло торговую деятельность новгородцев».

Но давайте зададимся вопросом: что было бы с Новгородом, если бы этот путь не существовал? Это был бы обычный город, отнюдь не претендующий на звание древней столицы. Напомню, что, согласно последним многочисленным исследованиям традиционных историков, главным торговым путем до начала второго тысячелетия был волжский путь. Так называемая дорога «из варяг в греки» по-настоящему начала функционировать только в самом конце X века. Следовательно, до конца X века не было никаких объективных предпосылок для столь значительного (по традиционной версии) роста этого города.

Здесь уже говорилось об исследовании Носовского и Фоменко, которые отмечали, что Новгород Ильменский был расположен крайне неудачно в торговом отношении. Я хочу добавить: в начале XVIII века российская столица переносится из Москвы в Петербург, который стал крупнейшим портом в России, а Новгород получил, таким образом, царский подарок для возрождения своего былого величия. Но это никак не отразилось на судьбе Новгорода, который вместо резкого экономического подъема так и остался захолустьем.

Захолустьем были и все ближние и дальние его окрестности. Вот еще интересная ситуация. Киев и Новгород — крупнейшие города Руси времен ее начала. Оба расположены на знаменитом пути «из варяг в греки». Спускаясь вниз по Днепру «на всем пути из Новгорода до Киева, по течению большой реки, Олег нашел только два города — Смоленск и Любеч». Это написал Соловьев. При этом следует отметить, что Смоленск лежал в доброй сотне километров в сторону от этого торгового пути. Отсюда вывод: не было ни пути «из варяг в греки», ни Великого Новгорода на этой трассе. Иначе мы знали бы ДЕСЯТКИ городов на пути от Новгорода до Киева. Тот же Чернигов был бы на Днепре, а не далеко в стороне от него. И Смоленск лежал бы в районе Орши.

Давайте рассмотрим новгородскую проблему вот с какой позиции: по традиционной версии, Новгород Ильменский — сильное и богатое княжество, экспансия которого распространилась далеко на север и северо-восток: Вологда, Вятка, Пермская земля и Подвинье, и даже Волок Ламский, что рядом с Москвой — все это принадлежало Новгороду, всюду он протянул свои руки. Но вот вопрос: а как же быть с Ливонией?

Почему соседняя эстонская чудь так и не была покорена, хотя такие попытки и делались, новгородцы и псковичи временами совершали на чудь успешные походы?

Во времена расцвета Киевской Руси началось покорение чуди, на ее территории был заложен Юрьев, началось русское продвижение в глубь чудских земель. Но уже в XII веке, с падением значения Киева этот процесс остановился. Но Новгород был активен и силен и в XII-м, и в XIII-м, и в XIV-м веках! А на чудские земли претендовать перестал. Почему?

Нет никаких объективных причин этому. Кроме одной: Новгород Ильменский — это не Новгород Великий, а одно из русских посредственных княжеств, сил у которого на завоевание соседней языческой земли НИКОГДА и не было.

В русской истории постоянным спутником Великого Новгорода выступает Торжок, торговый город, который относился к Новгородской земле. Но мало кто знает его полное настоящее название: Новый Торг. Из этого названия следует, что существовал иной «Торг» на другом месте.

Историк Лимонов пишет про Новгород второй половины XII века: «...никогда еще крупнейший торговый и экономический центр Древней Руси и Северной Европы не был в такой зависимости от великих князей. «Самовластец» владимирский буквально диктовал свои условия городу». Что ж, это меня не удивляет: центр великого княжения и реальной власти переместился из южного Киева в северо-восточный Владимир, совсем рядом расположенный с вольным Новгородом-Ярославлем.

Итак, до конца десятого века не было никаких объективных предпосылок для экономического роста города, а уже в XII веке Новгород оказывается в полной зависимости от недавно (по традиционной версии) основанного города Владимира. В действительности Новгород Ильменский получает свое развитие только после вхождения в торговый союз рейнских городов, которые охватили своими представительствами всю Балтику.

Соловьев, сравнивая северные и южные славянские племена, подчеркивает, что северные постоянно торжествуют над южными. Но считается, что Северо-Восточная Русь при первых Рюриковичах была мало заселена и плохо развита. Вот что утверждает В. Кожинов: «земля эта тогда являлась самой «неразвитой» и малоосвоенной, и имела небольшое и редкое русское население». Далее он же удивлен, что этот регион менее, чем за сто лет превратился в крупное и сильное государственное образование. Для меня не удивительно такое непонимание истины, которая лежит у ног: нужно только сделать усилие, нагнуться, чтобы разобраться во всем. Но коренная ломка устоявшихся догм для многих неприемлема.

ЯРОСЛАВЛЬ И МОЛОГА

В 1177 году в Новгороде произошла очередная смена власти. Это событие ничем бы не выделялось в летописях, если бы не были указаны еще два новгородских города — Торжок и Волок-Ламский. Волок-Ламский в XII веке находился между землей Владимирского и Смоленского княжеств, а до ближайших новгородских земель было ой как далеко. Когда Владимирское княжество раздробилось на несколько, Волок-Ламский оказался зажат между Смоленским, Тверским и Московским княжествами. Так причем здесь Новгород?

А вот к землям Ярославского княжества всегда относилась Молога с прилегающими землями. Рядом с Мологой существовало знаменитое торжище, куда стекались купцы даже из Скандинавии, Англии и Средней Азии. Не об этом ли Торжке идет речь? Да и Волок-Ламский скорее мог принадлежать Ярославлю, а не Новгороду...

В 1397 году московский князь отнимает у Новгорода Волок Ламский, Торжок, Вологду и Бежецкий Верх. Давайте рассмотрим эти события с географической точки зрения. По традиционной версии, все эти города — окраинные в Новгородском княжестве, поэтому

для историков здесь проблем возникать не должно, да и не было этих проблем. Но... Торжок никак не мог отойти Москве, для этого Мо сква должна была захватить буферную Тверь. Именно в этом одна из двух ахиллесовых пят традиционной истории. Другая «пята» — в событиях 1398 года, войны Новгорода с Москвой за освобождение захваченных городов. Каково должно быть направление главного удара н овгородцев? Естественно, Торжок, а затем Бежецкий Верх, исконные новгородские земли, жизненно необходимые для новгородцев. Но боевые действия почему -то ведутся на далекой Двине и близ Вологды...

По альтернативной версии, признавая Великим Новгородом Яросла вль, получаем, что великий князь захватил у Ярославля Волок Ламский, Бежецкий Верх, Вологду и мологский Торжок. О размере последнего — чуть ниже. Могли ли все эти города относиться к Ярославскому княжеству с географической точки зрения? БЕЗ СОМНЕНИЯ! Волок Ламский — западный осколок Ярославского княжества, сохранившийся у него после выхода из его состава Твери и Углича, Бежецкий Верх — такой же осколок на северо-западе. Земли к СЕВЕРУ от Вологды традиционной историей признаются ярославскими!

Молога тоже всегда считалась частью Ярославского княжества. О размахе Моложской ярмарки свидетельствует Карамзин. «Тишина Иоаннова княжения способствовала обогащению России северной. Новгород, союзник Ганзы, отправлял в Москву и в другие области работу немецких фабрик. Восток, Греция, Италия присылали нам свои товары... Открылись новые способы мены, новые торжища в России: так в Ярославской области, на устье Мологи, где существовал Холопий городок, съезжались купцы немецкие, греческие, итальянские, персидские, и казна в течение летних месяцев собирала множество пошлинного серебра, как уверяет один писатель XVII века: бесчисленные суда покрывали Волгу, а шатры прекрасный, необозримый луг моложский, и народ веселился в семидесяти питейных домах. Сия ярмарка слыла первою в Р оссии до самого XVI столетия».

Сразу же возникает вопрос: а почему главная русская ярмарка оказалась в столь глухом, согласно традиционной истории, месте? Были же и Новгород, и Торжок, и множество городов Московского, Владимирского, Нижегородского и други х княжеств, расположенных в географически прекрасных для торговли местах. Но купцы оказались кретинами: все как один выбрали глухой медвежий угол слабого Ярославского княжества, которое таким невзрачным выглядит в нашей традиционной истории. Наконец, когда же появилась эта ярмарка? Конечно, неплохо бы сейчас там поработать археологам, но водолазы ли они? Ведь на месте первой русской ярмарки сейчас расположено Рыбинское водохранилище, построенное в тридцатых годах двадцатого столетия. Как говорится, концы в воду.

Карамзин ссылается на некоего писателя XVII века. Речь идет о дьяконе Тимофее Каменевич-Рвовском. Может быть, он поведает нам более интересные факты про Моложскую ярмарку? «На устии славныя Мологи реки ДРЕВЛЕ были торги великие, даже и до дний грозна го господаря Василия Васильевича Темнаго, усмирившаго русскую землю всю от разбоев правдою скиптродержавства своего, И ВО ВРЕМЯ ЕГО, прежде Шемякина суда, бывшего на него государя».

Карамзин интерпретировал слова дьякона, определив начало существования ярм арки временами Ивана Калиты, дав ей всего сто лет сроку до дней «Шемякина суда». Но разве дьякон Тимофей называл такую дату? Наоборот, из его слов следует, что торги на Мологе существовали издревле, с незапамятных времен. Почему же так поступил Карамзин? Д ело в том, что по той версии истории, которой придерживался и которую развивал историк, Моложская ярмарка вообще не имела права на существование, как я уже отмечал выше — из-за ее странного (для традиционной версии) географического положения.

Но раз о ней пишут, то, значит, все-таки она существовала. Но когда? Для традиционной версии все однозначно — при Батыевом нашествии и сразу после него ее

быть не должно. Почему? Потому, что монголы сожгли и опустошили Русь, неоднократно совершая на нее набеги. Только при Калите-де началась стабилизация жизни на Руси... Вот так и положил Карамзин начало Моложской ярмарки временами Калиты.

И еще немного информации от дьякона Тимофея. По его словам, судов на реке Мологе было столько, что «по судам тогда без перевозов пре ходили людие реку ту Мологу И ВОЛГУ на луг Моложский, великий и прекрасный, иже имат во округ свой 7 верст».

Карамзин называет дьякона Каменевич-Рвовского сказочником. Он пишет, что, по убеждению дьякона, княгиня Ольга была и на ярославской земле, «где в е го время, т.е. в XVII веке, один большой камень на берегу Волги, в версте от устья Мологи, именовался Ольгиным; что там же сын ее Святослав в окрестностях небольшого озера ловил птиц, соколов, кречетов, и прозвал сие озеро в свое имя Святославлим: оно назы вается ныне Святым. Но Каменевич забыл, что великая княгиня путешествовала без сына». У меня для Карамзина есть ответ: Святослав, будучи наследником престола, должен был в свои юные годы княжить в Новгороде, то есть в Ярославле. Где же еще охотиться юному князю: неужели на далекой Киевщине, или в окрестностях тоже далекого от Ярославля Смоленска?

ЯРОСЛАВ И ЯРОСЛАВЛЬ

Значительные сложности в изучении летописей возникают из-за схожести названий княжеского имени Ярослав и города Ярославля. Судите сами. В от о Батыевом нашествии: татары после захвата Владимира взяли: «Юрьев, Дмитров, Волок, Тверь, ту же и сына Ярославля убиша». Считая, что речь идет о княжеском имени, историки до сих пор ломают головы: о каком Ярославе и его сыне идет речь? Ярославу Ярослав ичу в это время было 8-10 лет; что до остальных сыновей Ярослава Всеволодовича, то годы их смерти известны — и под период татарского нашествия не подпадают. Может, стоит эту фразу рассмотреть под углом зрения названия города Ярославля? По крайней мере, сде лать это еще никто не пробовал...

А вот еще из летописей: «А Иванку даша Тържк, и не прияша его новоторожци, и оттуду иде к Ярославу..., а заутра створи вече на посадника на Ярославли дворе..., а Яким бежа к Ярославу». Как видите, опять все непонятно: где имя Ярослав, а где город Ярославль. «Они же, вгонивше в Пльсков, яша Вячеслава, и бивше его, оковаша. В Нове же городе бысть мятеж велик: не бяше бо Ярослава, но в Переяславли бе...». Здесь, как считается, речь идет о городах Пскове и Новгороде, где п роизошел мятеж. Князь Ярослав в это время был далеко — в Переславле-Залесском. Может быть, конечно, и так... но, скорее всего, в действительности события происходили в Переславле, где был князь, и в Ярославле, где в этот момент и произошел мятеж.

Вот выдержка из «Слова о полку Игореве» о Всеславе: «...утръ же вонзи стрикусы, отвори врата Новуграду, расшибе славу Ярославу» и в традиционном переводе: «...поутру же вонзил секиры, отворил ворота Новгороду, расшиб славу Ярослава». А вот комментарий (автор не указан) к этому месту: «Имеются в виду события 1067 г., захват Всеславом Новгорода и его битва с Ярославичами на реке Немиге. Ярослав Мудрый, будучи еще Новгородским князем, способствовал укреплению независимости Новгорода от Киева, т.е. независимость Новгоро да — это слава Ярослава. Захватив Новгород, Всеслав разбил эту славу».

Оказывается, для Ярослава Мудрого важной заботой было укрепление независимости Новгорода! Сомнительная слава для КИЕВСКОГО князя. В то же время сам город своей независимостью должен был гордиться, и настоящий Новгород ей гордился. Независимость Новгорода — это слава ЯРОСЛАВЛЯ. Да, личное имя и название города в летописях в древних рукописях зачастую писались одинаково.

Вот случай из 1181 года, когда, согласно традиционной истории, новго родцы изгоняют своего князя Владимира Святославича. Вместо него Всеволод Большое Гнездо дает им своего свояка Ярослава Владимировича, но того в скором времени тоже выгоняют.

А вот как это звучит в летописи: «Выведе Всеволод, прислав, свояк свой из Новагоро да Ярослава Володимириця: негодовахуть бо ему Новгородьци, зане много твориху пакости волости Новгородьской». Интересная фраза, сами историки разводят руками, пытаясь ее объяснить. Вот три идущих подряд слова: «Новагорода Ярослава Володимириця». Считается, что первое слово — это Новгород, остальные два — имя с отчеством: Ярослав Владимирович, свояк Всеволода. А я уверен, что первые два слова — это город Новгород Ярославль, а третье — имя князя Владимира Святославича, правившего в этом году в Новгороде и бывшего свояком Всеволоду Большое Гнездо.

Князь Всеволод был женат на некой Ясыне, а в Киевской летописи говорится, что Святослав Всеволодович (отец Владимира Святославича) женил своего сына, правда не Владимира, а Мстислава, на Ясыне из города Владимира, кот орая «Всеволожю свесть». Ясыня — не имя, а указание на принадлежность к народу ясов, живших на Северном Кавказе. Таким образом, Киевская летопись отмечает, что брат Владимира Святославича и Всеволод Большое Гнездо — свояки.

Отсюда вывод, что действительно Всеволод Большое Гнездо прислал из Новгорода - Ярославля своего свояка Владимира, а те, кто правил историю, ошиблись и не вымарали название Ярославля, посчитав его за княжеское имя.

А вот очень интересное сообщение о событиях 1229 года. Здесь следует привест и древний текст и его современный перевод, автором которого, вероятно, является Сыроечковский. (Точно сказать нельзя, так как в цитируемой «Хрестоматии по истории СССР», изданной в 1937 году, не указаны авторы конкретного перевода). До 1229 года новгородским князем был великий князь тверской Ярослав Ярославич, который заключил с Новгородом договорную грамоту. В 1229 году новгородцы пригласили к себе на княжение Михаила Черниговского.

Итак, древний текст: «Приде князь Михаил из Чернигова в Новъго род...и целова крест на всеи воли Новгородьстеи и на всех грамотах Ярославлих...».

А теперь перевод: «...пришел князь Михаил из Чернигова в Новгород...Целовал он крест на всей воле новгородской и на всех грамотах ярославлих...».

Что же мы видим: ключевое слово оказ алось непереведенным. А почему? Потому, что не смог автор перевода принять то или иное решение, чьи это были грамоты — ярославские или Ярославовы. Современные историки, не сомневаясь, выбрали бы второй вариант: как же иначе, они ведь профессионалы. Но поче му же автор перевода этого не сделал? Проблемы совести? Боязнь ошибиться? Или понимал комментатор абсурдность целования ЧУЖИХ грамот? Что мешало составить новгородцам такие же, но новые грамоты, как-никак речь шла об инаугурации князя?

Еще один вопрос. Откуда же появилось название города Ярославля? Носовский и Фоменко считают, что «само название Яро -славль, вероятно, означало когда -то «Славный Яр». Яр — это название места с определенным рельефом. Это было «Славное Место», где торговали. Естественно, здесь в озник крупный город, наследовавший имя «Яро -Славль». Но данная гипотеза представляется несостоятельной с точки зрения лингвистики. На мой взгляд, все могло обстоять гораздо проще. Название города (второе после названия Новгород), к примеру, могло появиться и привиться в народе от Ярославова дворища, которое, в свою очередь, произошло от имени князя Ярослава Мудрого. Такая версия более близка к традиционной, которая считает, что название города было дано самим князем Ярославом в свою честь.

КАК ПРИПИСЫВАЛИ ИСТОРИЮ ЯРОСЛАВЛЯ НОВГОРОДУ ИЛЬМЕНСКОМУ

Ничего дополнительного, конечно, не придумывали. Как правило, вычеркивали слово Ярославль и заменяли его на Новгород. При этом, конечно, подправляли и сопутствующие географические названия. Насколько это легко и даже интересно, можете убедиться сами: возьмите книжку по истории и проделайте обратное действие — замените Новгород на Ярославль. При этом вы прекрасно убедитесь в возможности таких действий на практике, получите реальную картину истории той поры, восстановив историческую справедливость. При такого рода замене вы с удивлением обнаружите, что нет никаких накладок, неточностей, дискомфорта с теми или иными историческими событиями...а вот стоит заменить Новгород, скажем, на Чернигов, Рязань или Смоленск — и сразу возникнут проблемы с географией.

Возьмем, к примеру, знаменитое новгородское вече. Почему-то принято считать городами с вольными вечевыми порядками лишь Новгород и Псков. Для остальных городов оставлены варианты сильной княжеской власти да боярской оппозиции. Впрочем, академик Янин, защищаясь от критики Фоменко, заявил, что «новгородское вече называлось «300 золотых поясов» и, следовательно, было узко сословным органом, а не десятитысячной толпой». Надеюсь, я правильно понял витиеватую фразу нашего прославленного академика? Но вот что пишет Костомаров: «Народ вскоре пришел в ожесточение; в городах Владимире, Суздале, Ростове, Переяславле, Ярославле и других по старому обычаю зазвонили на вече и по народному решению перебили откупщиков». Здесь ясно сказано, что речь идет о народе и старых вечевых традициях, а отнюдь не о кучке «золотых поясов». Что же получается? В Новгороде на вече сходилось 300 человек, а в вышеперечисленных городах — широкие массы народа? Вывод довольно любопытный.

И второй вывод: в Ярославле тоже существовало вече. Следовательно, процесс подлога, замены в летописных текстах названия города Ярославля на Новгород, с описанием вольных вечевых порядков, мог происходить довольно безболезненно. Кстати, соседний с Ярославлем Ростов Великий считается центром вечевых восстаний Северо-Восточной Руси против татаро-монголов. То есть, вече на Руси — это не только Новгород и Псков, как это было вбито в наше сознание со школьной скамьи.

Наконец, вы сами поймете, что, несмотря на значительную удаленность этих городов друг от друга, такая замена происходит довольно безболезненно. Дело в том, что и Ярославль, и Новгород — города окраинные по отношению к столице, Киеву. Но как только центр исторических событий переместится из Киева в Северо-Восточную Русь, что происходит со второй половины XII века, спутать Ярославль с Новгородом станет весьма затруднительно. Здесь уже совсем другой географический масштаб, и расстояния измеряются не сотнями, а только десятками километров, скрыть подделку истории становится сложно.

Поэтому простая механическая замена одного названия на другое часто не приводит к конечному результату. К примеру, нельзя за день-два добраться из Ростова в Новгород, да и вектор движения совсем иной. То есть то, что для времен Киевской Руси сходило с рук, для событий Владимирской Руси уже не получается: то там, то здесь заметны следы подделок. Поэтому для подделки событий конца XII — начала XIV веков одного города-двойника (Новгорода) уже мало. И здесь на историческую арену должен был выйти новый город-двойник Ярославля. Этот город должен быть не маленьким и должен располагаться на Волге. Это главные критерии отбора, есть еще другие, не столь существенные. И такой город правщики истории нашли. Это — ТВЕРЬ.

Да, часть тверской истории, в основном ранней — это украденная история Ярославля. С начала XIV века летописная история Твери начинает входить в русло подлинной. А мотивом выбора на эту роль Твери, вероятно, послужило то, что одна из древнейших

ярославских сторон носила, да и сейчас носит название ТВЕРИЦ. Первым тверским князем стал ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ Тверской. По альтернативной версии истории, его отец, хан Батый получил имя Ярослав по названию своей столицы — Ярославля. Сам же Ярослав Ярославич Тверской — это хан-князь из Ярославля, его ставка располагалась в заволжской стороне Ярославля — в Тверицах. Поэтому, кстати, не надо удивляться, почему в Софийской первой летописи старшего извода сын Невского, московский князь Даниил Александрович почему-то назван Ярославичем: Невский также правил в Ярославле.

Во время знаменитого противостояния Москвы и Твери начала XIV века сторону Твери держат Ростов, Ярославль, Углич и Белоозеро. Раньше эти княжества держали сторону Андрея Городецкого. Городец — еще один дубликат Ярославля.

Вот возможный вариант правок. Согласно летописям, в 1276 год «погоре весь город Тферь; толико осталася одина церковь», а в Новгороде в этом же году упала до основания стена Софийской церкви. Возникает ощущение, что речь идет об одном и том же ярославском событии: сгорел город, но осталась лишь одна Софийская церковь, где до основания обрушилась одна стена.

В 1298 году в Твери горит княжеский дворец, а в 1299 году в Новгороде «обратились в пепел многие улицы». Напомню, что в летописях из-за сложного исчисления начала года многие события смещались на один год.

Тверь же была основана, если верить Воскресенской летописи, князем Ярославом «по нашествию Батыя», но историки, конечно, считают это выдумкой. Традиционная история датой основания Твери считают XII век, основываясь на сообщении Тат ищева, что князь Всеволод построил на Волге крепость или твердь. В летописях Тверь упоминается под 1215 годом, когда князь Ярослав Всеволодович после разборки с новгородцами заковал десяток своих противников и отправил их в Тверь: «и оковав потоци и на Тьх верь». Тверь упоминается и в следующем, 1216 году: «И наехаша на Яруна сторожи за Тхверью Ярославли». Как нетрудно догадаться, здесь везде Тхверь — это ярославский район Тверицы.

До настоящего времени ученые не могут твердо установить месторасположение Тверского кремля, что уже весьма странно. Согласно сведениям «Похвального слова», тверской князь Борис Александрович основал большой город Люблин. Но в районе современной Твери его так и не нашли. Почему? Потому, что не там искали! Ярославские Тверицы занимают левый берег Волги. Может, следует поискать там? И действительно, в Ярославской области на левобережной стороне расположен город Любим.

Очень любопытно прочесть об основании Нижнего Новгорода в Пушкинской летописи: «...и грады многи постави, паче ж Новгород вторый на Волзе усть Окы». Историки если и трактуют эти строки, то однозначно, как свидетельство того, что Нижний Новгород — это второй Новгород после Новгорода Великого, а слова «на Волге, близ Оки» — привязка к местности. Но так ли это, если задуматься? А что, Новгородов было всего два? А как же Новгород-Северский и Новогрудок Литовский? Есть и другие, менее известные Новые города на Руси, тем более, когда Нижний основывался, он тоже был никому неизвестен. А в летописи почему-то о нем: второй Новгород. Вполне можно предположить, что речь в летописи шла об основании второго Новгорода на Волге, который, в отличие от первого на Волге — Ярославля, был расположен тоже на Волге, у устья Оки.

Как традиционные историки определили границы Новгородской и Владимиро-Суздальской земель? Очень просто, в летописях упоминается о Белоозере и Устюге, как регионе подчинения князьям Северо-Восточной Руси. К примеру, устюжане составляли часть войска Юрия Долгорукого, уже при монголо-татарах Устюг относился к сфере влияния ростовского княжества. Отсюда вывод: Устюг — часть Ростово-Суздальских земель. То же самое и с Белоозерским районом. А остальные земли эти историки уже чохом относили к землям Великого Новгорода. Но, добавим, не настоящего Новгорода, а его дубликата — Новгорода Ильменского. В итоге у картографов получились накладки:

Вологда никак не могла оказаться в числе земель Новгородских, вот и пришлось ее объявить совместным владением с Московским княжеством. А между тем современная карта наглядно доказывает, что Вологда в действительности должна относиться к Ярославлю, т.е. к настоящему Новгороду.

К северу от Вологды лежит Кубенское озеро, вся эта обширная земля называется Заозерьем. Почти на всех картах этот район отнесен к Новгородской земле, что является самой настоящей ложью. Заозерье, согласно летописям, принадлежало Ярославскому княжеству. Но этот факт историками, по возможности, замалчивается. Как оказалось Заозерье у Ярославля? Это ими не объясняется. В подробном атласе истории России, изданном «Дрофой» и издательством «ДиК», на карте «Древняя Русь в XII-XIII вв.» Заозерье принадлежит Новгороду, то же и на карте «Монгольское нашествие на Русь», но уже на следующих двух — «Территориальный рост Московского княжества» и «Северо-Восточная Русь в XIV в.» Заозерье, наконец-то, отнесено к Ярославлю. А далее, на карте «Новгородская земля в XV в.» эта территория уже стыдливо помечена как совместное владение Москвы и Новгорода. Господа-товарищи историки, может, хватит врать? Все ваши ляпсусы с Заозерьем возникли только потому, что вы согласились с подменой Ярославля на Новгород Ильменский, который теперь по указу г-на Ельцина гордо, но несправедливо называется Новгородом Великим.

В XV веке Ярославль-Новгород был практически полностью уничтожен, жители перебиты и рассеяны, документы сожжены, стены и крупнейшие соборы разрушены, даже могилы не пощадили. На руины древнейшего русского города переселили жителей Московии и татар. О гордости и величии русской столицы быстро забыли. Но как удалось привить историю Ярославля небольшому городку, расположенному среди болот северо-запада страны? Поверьте, это не так и сложно.

Возьмите пример с мифическими братьями Рюрика — Синеусом и Трувором. Синеус — это sine use, что означает «своими родичами», а Трувор — tru war — значит «верная дружина»; в итоге мы получим, что пришел Рюрик со своими родичами и верной дружиной: Рюрик сине хус тру вар. Не было никогда таких братьев!А между тем в Белоозере и в Изборске бытовали о них местные легенды. В Белоозере даже показывали могилу (!) Синеуса. А в Изборске и до сих пор стоит крест Трувора, что, кстати, весьма странно, так как летописный Трувор не мог быть христианином. Таким образом, как видим, престижные легенды быстро прививаются.

И ЕЩЕ О ПОДМЕНЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ. РОСТОВ ВЕЛИКИЙ

Для большей убедительности при подделке русской истории ее правщикам пришлось пойти на ряд географических подправок, без которых история с подменой просто была бы несостоятельной, и быстро оказалась развенчанной. Речь идет о реке Волхов и озере Ильмень, из которого эта река вытекает. Есть документальные свидетельства (XVI-XVII вв.), что ранее они назывались Мутная и Мойско. Да, бывают случаи, когда одно название вытесняется другим, особенно это часто встречается в случаях заселения земель пришлыми племенами. Но Ильмень — название финно-угорского происхождения, а Мойско, наоборот, славянского. Поэтому такого рода замены произойти НЕ МОГЛО. Не могли прийти славянские племена, дать озеру имя Мойско, а потом, уже через несколько столетий, после полной ассимиляции туземного населения, почему-то переименовать это озеро на финно-угорский лад.

Да и название — Ильмень — указывает на племя мерян, обитавшее далеко от этих краев — в районе Ростова. Ильмень — это мерянское озеро. Почему? В летописях так и написано: «словени же седоша около озера ИЛМЕРИ». Предвижу замечание ученых скептиков, что это просто описка, и вместо -р— следует понимать -н-. Но Карамзину, я думаю, вы поверите? «Ильмень в древнейших рукописях НАЗЫВАЕТСЯ ВЕЗДЕ

ИЛЬМЕРОМ». В районе современного Новгорода мер я никогда не обитала. А озеро почему-то называлось ИльМЕРь. Я считаю, что ростовское озеро Неро и есть Ильмень. Из него вытекает река Которосль, а правильнее — НЕРА, которая впадает в Волгу. А название Нера, опять же, происходит от мери.

Соловьев отмечал текущую в Московской губернии реку «Мерскую или Нерскую», «которая именем своим ясно показывает, что протекала чрез старинную землю мери». Поэтому озеро Неро правильнее было бы звать как в старину — Меро.

А сам Новгород мог получить свое название не от того, что это Новый город, а оттого, что это город на землях мери. В еврейско-хазарской переписке Новгород назван Невоградом. Отсюда возможна следующая цепочка: Мероград — Нероград — Невоград — Новгород.

Кстати, о Ростове. Ярославский Ростов называется Рос товом Великим, хотя до современного Новгорода Великого далеко, в отличие от Ярославля. Понимая, что если есть Ростов Великий, то обязательно должен быть и какой-то другой город Ростов, историки нашли его. Малым Ростовом (именно так его определил Соловьев) назначили быть городу Ростовцу. Ростовец упомянут в летописях: «воеваша половци у Растовця и у Неятина». В географическом отрывке, датируемом XIV или XV веком, появляется еще один похожий город: «На Десне...Рястовечь, Неятин...». Строев, так подробно изучи вший Карамзина, почему-то считает их разными городами, а напрасно.

Но, впрочем, не в этом дело. Где же находился этот «Малый Ростов»? В одном из изданий Карамзина есть ссылка: «Ростовец ныне Ростовка в Липовецком повете». Как видите, весовые категории у эт их городов не сравнимы, и не думаю, что жители Северо-Восточной Руси вообще слышали о далеком полустепном городишке, а скорее, просто укрепленном от половецких набегов местечке, и называть Ростов Великим стали вовсе не поэтому. Ростов и называется Великим потому, что он расположен всего в 60 километрах от Новгорода Великого, т.е. Ярославля.

Еще один интересный вопрос: какое княжество было на северо-востоке Руси? По исследованиям историков, непонятно какое: то Ростово-Суздальское, то Владимиро-Суздальское, то... А все потому, что в первые столетия Руси, до выдвижения города Владимира, в северо-восточной ее части главным городом был Новгород, то есть Ярославль. Вот поэтому-то и не смогли придумать столицы для этого княжества.

То, что о существовании Ростовца почти никто не знал, хотя тот и упомянут в летописях, говорят хотя бы строки из Татищева. Сей историк вынужден сообщить, что некоторые летописи пишут об основании Владимира не на Волыни, а на Клязьме, по причине того, что древние летописцы вообще не знали о существовании Владимира Волынского! А между тем, Владимир Волынский, согласно летописям — столица княжества. А это вам не какой-то там Ростовец.

Согласно «Повести временных лет», «варяги из заморья взимали дань с чуди, и со словен, и с МЕРИ, и с кривичей». Меря жила как раз в районе Ростова. То есть, летописи прямо указывают на то, что «Ростов Великий при самом начале русской истории находится в тесной связи с Новгородом и его князьями». Это уже выдержка из «Истории России» Соловьева. Как видите, один из основоположников русской истории, ее патриарх, прямо указывает, сам того не ведая и не понимая, на близкую связь Ростова Великого и Новгорода Великого, то есть Ярославля.

В девятнадцатом веке был найден манускрипт объемом в 500 листов, содержащий 120 древних новгородских легенд, но вскоре он был утрачен. Можно только догадываться, О ЧЕМ там могла идти речь. И не уничтожен ли он был потому, что эти легенды вступали в резкий контраст с традиционной версией русской истории, однозначно указывая на настоящий Новгород? Хотите знать, где он был найден? Неподалеку от Ростова Великого, в 60 километрах от Ярославля.

В заключение приведу отрывок из одного нижегородского предания, действие которого происходит во времена Ивана Грозного: «Дело было давно, еще когда...горо д Казань был

столицей татарской... А наша столица была тогда Кострома...». Итак, дело происходит в середине XV века, когда Москва уже несколько столетий была стольным градом, а предание почему-то называет столицей Кострому. Если учесть, что это предание и сходит из региона Нижнего Новгорода, а Кострома находится близ Ярославля и как раз по дороге из Нижнего в Ярославль, то его можно засчитать в пользу альтернативной версии.

Покровский в своем труде «Возникновение Московского государства» ссылается на безвестного публициста, современника Ивана Грозного, который развивал мысль, что «столицей Московского царства должен быть собственно Нижний, а Москва стол великого княжества». Но какой Новгород имел в виду этот публицист?

ЯРОСЛАВСКИЕ ГОРОДА

Наряду с Ростовом и Ярославлем одним из трех древнейших русских городов был Переяславль. Согласно традиционной версии истории, Переславль -Залесский был основан Юрием Долгоруким в 1152 году. Но у некоторых наших историков существует мнение, что древний город Клещин был просто перенесен Долгоруким на новое место, где и получил свое название: Переяславль. Клещин существовал на восточном берегу Клещина озера (сейчас Плещеево озеро). Место, где он находился, сейчас называется Александровой горой.

Прекрасно понимая, что Переславль-Залесский не мог быть так поздно основан, эти историки все же никак не могут перешагнуть через Юрия Долгорукого. И совершенно напрасно. Между прочим, Ярославль впервые упоминается в летописях под 1071 годом, что не мешает истории считать датой его основания 1010 год. Потому что это последний год княжения Ярослава Мудрого в Ростове. А Ярославль, как считается, был основан именно Ярославом Мудрым и назван в его честь.

При этом Ярославль, согласно традиционной версии, мог быть основан еще и раньше: в период с 988 по 1010 год: т.е. в годы правления Ярослава в Ростове. Получается, что разница между предполагаемым традиционной историей основанием города и первым его упоминанием в летописях чуть ли не сотня лет. Но в случае с Переславлем традиционная версия упрямо держится за явно несуразную дату — 1152 год.

Митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн в молодости был крупным специалистом в геологии. В предисловии к его книге «Князь Федор» рассказывается случай из его жизни, когда он глубокой ночью брал скол от Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском. Результаты анализа скола подтвердили, что собор был основан в XII веке. Историки Козлов и Анкудинова в «Очерках истории ярославского края» так и пишут: «В середине XII века при Юрии Долгоруком строится Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, сохранившийся почти в первозданном виде». Итак, Переславль основан Долгоруким в 1152 году, через пять лет Долгорукий умирает. Что же получается, если верить нашей истории: только-только город основан, построена пара изб — и СРАЗУ же строится большой и прекрасный собор!? За кого нас принимают?

О предшественнике Ростова, Сарском городище говорилось много. Как правильно называлось это поселение, точно ответить никто не может. Сарским же назвали его совсем недавно, по имени речки, впадающей в озеро Неро. Считается, что поселение существовало с седьмого века и в нем жили преимущественно кузнецы. Можно предположить, что металл для кузнечных работ поступал из Тимерево, места падения крупного метеорита. Если это так, то тимеревское поселение вполне могло быть основано выходцами из Сарского городища и на первых порах подчинялось его власти.

Древний городок был раскопан и на месте современного Углича. Здесь найдены арабские монеты VIII-IX веков.

В последнее время в некоторых исторических книгах стали появляться новые данные о возрасте Рыбинска, города, расположенного неподалеку от ушедшей в сталинские

времена под воду древней Мологи. Считается, что Рыбинск был основан где-то в 1777-79 гг. Раньше на этом месте с 1504 года была Рыбная слобода. Но скоро эту дату основания придется пересмотреть. В устье реки Шексны обнаружено древнее поселение, которое по размерам даже превосходит размеры древнего Ярославля. Время основания этого поселения — одиннадцатый век, примерно 1025 год.

На месте центральной части Ярославля существовало поселение Медвежий Угол. Результаты раскопок показали, что оно возникло где-то на рубеже восьмого и девятого веков. В старинном предании, сохранившемся в записках ростовского архиепископа второй половины XVIII века Самуила Мирославского, говорится, что жители Медвежьего Угла поклонялись Волосу. Волос же, как считается, был финно-угорским божеством.

Сколько же лет Ярославлю? В житии святого Стефана Сурожского рассказывается, что «воинственный и сильный князь Новгорода русского... Бравлин...с многочисленным войском опустошил места от Корсуня до Керчи, с большой силой пришел к Сурожу». По мнению исследователей, этот поход мог произойти в 755 или 790 годах. Но Новгорода Ильменского тогда однозначно не существовало, как и пути «из варяг в греки». А вот известный путь по Волге и Дону как раз вел в Крым.

И, наконец, несколько слов о ярославских укреплениях. Считается, что с северо-западной стороны Ярославль был огражден земляным валом с глубоким и широким рвом, заполненным водой. На протяжении всего вала стояло около двадцати башен с бойницами, из которых до наших дней сохранилось лишь три. Размер башен впечатляет даже сегодня. Наличие таких башен никак не сочетается с земляным валом. Поэтому правильнее было бы предположить существование городских стен, соразмерных с башнями.

Городские укрепления древнего Ярославля охватывали кольцом громадную даже по современным меркам территорию, которая делилась на так называемые Рубленый и Земляной города. Рубленый город был самой древней частью Ярославля. При этом и за городскими стенами были поселения — различные слободы. Я это к тому, что Ярославль в древности впечатлял своими размерами. Но стены снесли и о них приказали забыть. Кто и почему?

КТО И ПОЧЕМУ?

А в самом деле, почему в давние-предавние годы проявилась такая нелюбовь к Ярославлю=Новгороду. Неужто всемирный заговор? Нет, конечно. В середине XIII века на Русь пришли так называемые татаро-монголы. Конечно же, настоящими монголами там и не пахло. Это была разномастное воинство, состоящее из жителей Предкавказья, Кавказа и районов Средней Азии. Во главе их стояли потомки Андрея Боголюбского, точнее, его сына Юрия, подростком бежавшего в степь, где он и получил титул Чингисхана. Об этих и последующих событиях на Руси расск азывает книга «Русь, которая была».

Захватив на Руси власть, потомки Чингисхана обосновались в созданной ими Золотой Орде. А на Руси правили их ставленники, как правило, сыновья и младшие братья золотоордынских ханов. Своей столицей на Руси они первоначально и облюбовали Ярославль. А сами по имени города получали имена Ярославов. Впрочем, это продолжалось недолго: Ярославль оказался городом с норовом.

В 1272 году умирает сын Батыя Сартак, известный на Руси как князь Ярослав Ярославич. Хан Ногай отдает власть на Руси своему зятю, известному по летописям под именем Федора Черного. Однако Ярославль его к себе не принял. За что и поплатился татарским набегом во главе с Федором Черным. Но гордыни своей город не смирил. Вот и задумались ханы Орды над возникшей проблемой: что делать? Слишком независимым и свободолюбивым был Ярославль=Новгород, да и окрестные города тоже, имевшие многовековые вечевые традиции.

Альтернативу Ярославлю нашли, основав в начале XIV века новый город -столицу — Москву. А Ярославль время от времени брался татарами на щит.

Вскоре в Золотой Орде начались усобицы, ханы менялись так часто, что новые не успевали поменять своих наместников — великих князей на Руси. А когда на Русь ехали новые великие князья, старые уступать «нагретые» места не то ропились. Так на Руси началось Смутное время. Одни претенденты на власть держались за Москву. А другие выбирали Ярославль=Новгород, все еще остававшийся главным городом на Руси.

Так продолжалось до 1471 года, когда борьба за власть между московским князем Юрием (Ягупом) и его племянниками, сыновьями предыдущего великого князя Василия (Касима), засевшими в Ярославле=Новгороде, достигла апогея. Юрий взял штурмом столицу своих врагов, а город отдал на откуп победителям. Москвичи — «граждане и жители сельские в течении двух месяцев ходили туда вооруженными толпами из московских владений грабить и наживаться». Непокорных новгородцев (т.е. ярославцев) топили тысячами.

Сын Касима царевич Данияр, он же Даниил Васильевич Ярославский и он же Андрей Меньший, бежит в Орду, получает татарское войско, которое ведет на Юрия=Ягупа. Последний убит, а Москва переходит к Данияру=Андрею Меньшему. Но север и северо - запад страны со столицей в городе Ярославле пока остаются под контролем братьев Юрия — Андрея Большого, Бориса и их племянника Федора Юрьевича, сына погибшего Юрия.

В 1477 году великий князь московский Андрей Меньший ведет войска на мятежный Север. Ярославские бояре готовы отдать город князю. Но на своих условиях. На что Андрей Меньший отвечает: «Ты, богомолец наш, и весь Новгород признавали меня государем; а теперь хотите мне указывать, как править вами?»

Ярославль был взят в кольцо и в 1478 году сдался. В городе началась резня. Когда немногие оставшиеся в живых ярославцы начали возвращаться на пепелища, Андрей Меньший продолжил резню. Кто уцелел, тех отправили в рабство. Самый крупный город на Руси был опустошен. Вскоре туда стали переселяться жители Московии и татары. А с исторической памятью о Ярославле=Великом Новгороде как древней русской столице было практически покончено.

Итак жители Ярославля были перебиты и рассеяны, документы сожжены, стены города и крупнейшие соборы уничтожены. Но дабы Ярославль НИКОГДА не мог претендовать на столичную власть, чтобы НИКОГДА не мог быть соперником Москве, началось планомерное уничтожение ВСЕХ возможных свидетельств о его былом величии. Даже могил не пощадили. Могилы великих князей были уничтожены. Впрочем, не все. В Ярославле был похоронен отец нового великого московского князя — Касим. Его гробницу перевезли в Москву, где и перезахоронили. Она до сих пор сохранилась в Архангельском соборе Москвы под именем могилы некоего Василия Ярославича.

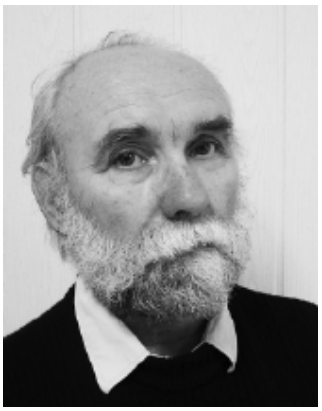
Так померкла слава Великого Ярославля=Новгорода.

«Quis potest contra Deum et magnam Novgardiam?» — «кто против Бога и великого Новгорода?» Против правды об украденной у Ярославля его древней новгородской истории выступают традиционные историки, упорно держащиеся за свои догматы. Но истина рано или поздно восторжествует и через четыре с половиной года, надеюсь, мы будем праздновать юбилей Ярославля=великого Новгорода.

Так выглядела, согласно Атласу истории России («Дрофа» и «ДиК», М., 1998 г.) Северо-Восточная Русь во второй половине XIV века. На этой карте Волок отнесен к владениям Твери, а Вологда принадлежит к Ростовскому княжеству.

1. Кубенское озеро
2. Земли, относимые к Ярославскому княжеству.
3. Вологда с землями.
4. Волок с землями.
5. Углич с землями.

А вот так (рис.внизу) трактует ту же самую историю новое издание того же Атласа («Дрофа» и «ДиК»,М., 2004 г.) На этой карте северные территории Ярославского и Ростовского княжеств значительно приумножились за счет земель Новгорода. Как видите, история меняется...



Михаил Савицкий

Егоровские изразцы

Перерыв свои архивы, я так и не смог найти его фотографии: он почему-то всегда избегал объектива. Еле-еле отыскал в Ярославле маленькую карточку Егорова, взятую из официальных документов: сжалились кадровики, разрешили переснять из его личного дела. Но маленький квадратик пожелтевшей бумаги дает весьма слабое представление о внешности моего друга. Что ж, попробую нарисовать его портрет словами: широкоплечий, невысокого роста человек; глубокие морщины и залысины сильно старят лицо, но маленькие, с прищуром, глаза движутся молодо и живо. Серповидные брови, широкие скулы, приплюснутый нос... ни дать ни взять — боксер-тяжеловес! Говорит быстро, проглатывая слова; многие фразы, особенно без привычки, понять просто невозможно, приходится переспрашивать.

Любимая тема разговора — воспоминания о послевоенном времени, о голодных, но ярких годах, навсегда врезавшихся в его память. Он помнил буквально все и всех, сыпал именами, фамилиями, кличками... И я в такие минуты, взволнованный этим наплывом профессиональной памяти художника, мгновенно начинал вместе с ним погружаться в наше общее дворовое прошлое — в игры и драки ярославских огольцов, в наши ожидания, наши

Михаил Павлович Савицкий родился в 1939 году в Ярославле, в семье художника, его отец, дядя и бабушка попали накануне Великой Отечественной войны под каток сталинских репрессий и были осуждены на длительные сроки заключения. Михаил окончил школу рабочей молодежи, учился в текстильном техникуме, служил матросом на флоте, в 1968 году окончил вечернее отделение Московского финансово-экономического института. Параллельно трудился токарем на Ярославском заводе топливной аппаратуры, был комсомольским работником. 34 года проработал преподавателем экономики в Ярославском химико-механическом техникуме.

С юношеских лет увлекается живописью, с 1972 года выставляет свои работы на художественных выставках. Член Союза художников России с 1998 года. Свыше четверти века занимался марафонским бегом, в возрасте 55 лет участвовал в международном марафоне. 20 лет отдал горному туризму, побывал на Памире, Тянь-Шане, в Горном Алтае.

В числе давних увлечений Савицкого – краеведение и филокартия. Его коллекция старинных открыток с видами Ярославля насчитывает более 1500 экземпляров, ее материалами регулярно пользуются музеи Ярославля, издатели, историки, краеведы, реставраторы.

Постоянный автор нашего журнала.

Живет в Ярославле.

© Михаил Савицкий, 2006.

мечты тех далеких лет. «Эх, — восклицали невольно мы оба, — ну, как же это может быть? Жили в соседних дворах, бегали рядом, а познакомились только через тридцать лет!»

Сближала нас с Лешей Егоровым не только память о детских годах в послевоенном Ярославле. Оба мы, так уж вышло, росли без отцов — мой сидел в сталинском лагере, а его батя погиб на фронте; оба с юных лет тянулись к изобразительному искусству. Азы будущей профессии, как мне помнится, он начал постигать в изостудии Дворца пионеров, под началом Бориса Ивановича Ефремова, воспитавшего не одно поколение ярославских художников. А потом поехал учиться в художественную школу при фарфоровом заводе в селе Песочное, что под Рыбинском. И вернулся уже мастером, мастером-керамистом.

Прекрасно помню свои впечатления от первого посещения реставрационных керамических мастерских, которыми он заведовал. Это было самое начало семидесятых годов прошлого века, стояла весна, начало мая. Прыгая через лужи и грязь Вспольинского поля, я медленно продвигался к цели — распахнутым настежь воротам, за которыми виднелись просторный двор и приземистый щитовой барак, очень похожий на дождевого червя, лениво разлегшегося на непросохшей земле. Построенный еще до войны, барак на добрых полметра ушел в землю, и даже его большие окна были, казалось, готовы уйти туда же.

Но убогим он выглядел лишь с улицы. Войдя в помещение, я чуть не ахнул: глазам моим открылся удивительный, внешне хаотичный, но внутренне цельный натюрморт — длиннющие стеллажи были плотно заставлены изразцами, терракотовыми бюстами, гипсовыми медальонами, глазурованными штофами... чего тут только не было!

На грубо сколоченном из толстых досок столе, словно пироги перед отправкой в печь, лежали еще сырые, свежеотформованные изразцы; рядом с ними покосившейся башенкой высились использованные формы; напротив окон, подпирая собой прогнувшийся потолок барака, мощно стоял горн, выложенный из ошкуренного огнеупорного кирпича. Горн был главной достопримечательностью мастерских — именно в нем, до этого хорошо просушенные в естественных условиях и покрытые глазурью, раз в неделю об жигались изразцы.

Прислушиваясь к доносящимся из соседнего помещения ухающим звукам работающих глиномешалок, я медленно двигался следом за хозяином по чисто вымытым, некрашеным деревянным полам барака. Леша с видимым удовольствием посвящал меня в тайны ценинного (так со времен средневековья называли изготовление многоцветной керамики) ремесла.

Растапливать горн начинали загодя, часов за пять до обжига, дрова при этом использовались только сосновые. Температуру доводили до 900-1200 градусов по Цельсию — и остывал горн потом почти сутки. Затем стенку, которой замуровывали пространство обжига, разбирали — и остывшие изделия появлялись на свет.

Я видел их своими глазами — недавно появившиеся из печи егоровские изразцы. Сюжеты их и сейчас стоят в моей памяти. Вот пара вздыбленных коней... нет, слева-то, пожалуй, не конь, а лев, стоящий на задних лапах. Вот «взятие городка»: на крепостной стене мечет друг в друга стрелы пара воинов-лучников... ни дать ни взять — два воинственных петушка... Вот крылатый лев с разинутой пастью и добродушной мордой, изображенный на зеленом фоне. А вот полкан, человеко-конь, стреляющий из лука... по углам изображение обрамляют розетки-трилистники. Помнится, Леша тогда же сказал мне, что считает этот сюжет самым красивым и цельным в галерее древнерусских композиций. А позднее по поводу трилистника мне пришлось слышать от него и слова, наполненные неподдельным возмущением:

— Да ведь «Адидас» этот украл исконно русский декоративный элемент! Украл — и сделал своим символом. А почему? Потому, что не нашлось среди нас, русских людей, предприимчивого человека... не умеем мы поднять то, что валяется у нас под ногами. А потом машем кулаками, дураки...

Но тогда, в мае, я думал не об этом несметном богатстве русской культуры, на котором, по выражению одного из классиков, словно на плечах гигантов, стоит каждый подлинный отечественный мастер... мысли мои шли в другом направлении. Я смотрел на поблескивающие красные, зеленые, фиолетовые, желтые квадратики, которым вскоре предстояло украсить множество зданий — и думал о том, что каждый сюжет прошел не только через руки мастера, но и через его сердце...

В тот день Алексей познакомил меня со своими помощниками — Саше было лет пятьдесят, Мария и Катя помоложе. Простые, приветливые, улыбчивые люди. Атмосфера в этом маленьком коллективе была самая задушевная, начальника своего они именовали не иначе как Лешей. Впрочем, он был тогда и помоложе их всех, ему сравнительно недавно перевалило всего лишь за сорок.

Мне бросилось в глаза, что и Саша, и Маша с Катей все время что-то делали, свободного времени для разговоров у них, как я заметил, не было. Значит, заказов у мастерских тогда хватало. Чуть позже, в восьмидесятых, когда православная церковь стала брать на свой баланс разрушенные храмы и монастыри, работы у ярославских керамистов стало совсем невпроворот: требовалась плинфа для церковных полов, поливные изразцы, керамический лемех для куполов...да всего не перечислить!

Впрочем, о некоторых заказах следует поговорить отдельно: уж очень важными они были. Взять, к примеру, те же камины Московского кремля, нуждавшиеся тогда в срочной реставрации. Несмотря на то, что в столице советской империи работал целый научно-исследовательский институт керамики, собравший под своей крышей немало академиков, лауреатов государственных премий и прочих «светил от керамики», не нашлось в Советском Союзе другого мастера, кроме ярославца Леши Егорова, который смог бы воссоздать изразцы этих древних каминов. Да так воссоздать, чтобы с двух шагов изразцы нельзя было отличить от подлинника! Егоров, помнится, дважды тогда выезжал в Москву для знакомства с объемом работы и степенью ее сложности — а потом несколько месяцев подряд трудился, не покладая рук. Месяцы эти были, как он сам впоследствии признавался, совершенно изнурительными: спал он в те времена по три-четыре часа в сутки. Работали не только руки — неустанно трудился его мозг, ищущий варианты технического воплощения секретов древнерусских мастеров. Именно тогда Алексей создал и записал в свою толстую тетрадку несколько сотен рецепто в создания глазурей, — а всего в той тетрадке было, как мне помнится, более пяти тысяч таких рецептов... готовая докторская диссертация!.. Где-то она сейчас, эта тетрадка?

После выполнения заказа Московского кремля в ярославские мастерские пришел заказ Совета Министров СССР. Требовалось выполнить два камина, предназначенные для установки на дачах первых лиц державы (как сказали бы сегодня — для вип-персон) — Брежнева и Косыгина. Никаких особенных пожеланий в адрес мастера руководители империи не высказали — Егорову был дан, как говорится, полный карт-бланш. И началась новая многомесячная работа...

Прежде всего, Алексей отобрал сюжеты для будущих изразцов. Из многих сотен древних канонических сюжетов нужно было остановиться на тех, которые и по сей день трогали бы душу современного человека... но как провинциальному умельцу угадать, о чем думает государственный человек такого калибра, как Леонид Брежнев? Есть, о чем поразмыслить...

Далее — техника. О том, что изразцы для обоих каминов Егоров выполнит в технике «люстр», он знал изначально. Но люстр люстру рознь. Эта глазурь с металлическим отблеском, получаемая обычно путем нанесения на керамику металлического резината, то бишь, металлического смоляного мыла, всегда дает (после обжига при температуре около 700 градусов) удивительный эффект радужного перелива: лучи дневного света играют с отраженными лучами блестящей поверхности тонкой надглазурной пленки. Но на практике каждый мастер-керамист применяет свой собственный рецепт получения

люстра, — и у Егорова тоже был свой, достаточно простой, можно сказать, «народный». Такой ли нужен для этих каминов?

Позднее Леша рассказал мне о своем люстре: суть его метода была в том, что в момент остывания изразца в муфельной печи мастер брал сосновую лучину и опускал ее в отверстие муфеля. Моментально вспыхнув, лучина обволакивала изразец сосновым дымом. Казалось бы, изразец, покрытый глазурью, обязан был стать после обжига темно-зеленым... но нет! Вступив в реакцию с сосновым дымом, нанесенный на изразец слой глазури начинал на глазах меняться: на нем появлялись перламутровые разводы с мгновенно застывающими в них рубиновыми искрами и золотистыми отливами — словно мастер, не поскупившись, бросил прямо в глазурь горсть золотых червонцев. Зеленый, сиреневый, желтый, золотистый... переход от одного цвета к другому создавал непостижимую палитру красок, слитых воедино на малом пространстве.

Но и это было еще не все. Ведь от изразца должно было веять стариной... а как этого добиться? Здесь должна была придти на помощь так называемая техника кракле... сразу после обжига мастер окатывал изразец ведром холодной воды. Зашипев, изделие покрывалось сеткой мельчайших трещинок — тех самых, которые знатоки древнерусских икон называют «кракелюром», а керамисты — просто «цеком». Смотришь на такой изразец — и думаешь: какие же долгие века он пережил... А он — только что из печи!

Целое лето ушло у Егорова на эксперименты и формование изразцов, и лишь в сентябре он отдал помощникам приказ готовить горн к обжигу. Можно представить себе, как волновался Алексей, замуровав сырые полуфабрикаты в муфель: получится ли то, что он задумал? все ли возможные варианты испробовал?

Но вот уже изразцы покинули печь, вот уже оба камина, собранные пока что без раствора, стоят в мастерских — похожие друг на друга, как близнецы. Поливной глянец глазури одного камина отличается от глянца другого, но предпочтение нельзя отдать ни одному: оба лучше! И оба напоминают чем-то изразцовые печи XVIII века...

Алексей готовился к итоговому отъезду в Подмосковье, словно к полету в космос. Нет, он не ждал ни миллионов (тогда о них и не мечтал в России никто, кроме, разве что, подпольных миллионеров-цеховиков, да воров в законе), ни особенных наград... но, конечно же, жаждал достойной оценки своего труда, своего таланта.

Вернулся дней через пять, хмурый. На вопрос о том, как его отблагодарили важные персоны, ответил сухо, с еле скрываемой иронией: «Бутылку водки дали».

Мое поколение, нахлебавшееся рынка и капитализма, привыкло сегодня вспоминать с ностальгией советские времена. Но, вспоминая этот случай, я думаю невольно: а сколько сегодня стоил бы такой заказ? не стал ли бы и впрямь Лешка Егоров в одночасье миллионером после выполнения такой работы?

А в те времена он просто продолжал трудиться в тех же самых реставрационных мастерских, выполнять новые сложные заказы. К 20-летию полета в космос нашей землячки Валентины Терешковой разработал эскиз ларца, который сначала хотели было сделать фарфоровым. Но при обжиге на Первомайском фарфоровом заводе (ларец был очень большим и в егоровский муфель не влезал) крышка изделия прогнулась — и белоснежный, расписанный кобальтом орнамент оказался испорченным. Пришлось дарить космонавту не фарфоровый, а глиняный вариант в технике «люстр» — он тоже был великолепен.

Думаю, что к этому времени ярославский художник-керамист Алексей Егоров уже давно знал себе настоящую цену. Несколько эпизодов из его жизни, которые я расскажу ниже, очевидно подтверждают это мнение. К началу восьмидесятых он вырос в мастера, которому на обозримом пространстве не было равных. Но это знание, из года в год подкрепляемое и множеством заказов, и обилием публичных оценок, столкнувшись с известной «болезнью русского человека», дало вполне ожидаемый эффект: Леша все чаще стал «уходить в загул»...

Выпивали мы, люди того поколения, частенько — но, в основном, по приличествующему поводу: праздники, встречи... Художники, натуры творческие, пили гораздо чаще, и Алексей не был исключением: он прилично «принимал на грудь» задолго до нашего знакомства с ним. А с тех пор, как его имя стало в се чаще и чаще звенеть в том духовном поле, где вращались деятели культуры, многие начали почитать за честь «посидеть с Лешкой Егоровым»... И застолья, в которых он принимал участие, пошли, что называется, косяком...

На его счастье, Бог послал ему достойную подругу жизни, которая относилась ко всему этому с пониманием. Маленькая, хрупкая женщина, трудившаяся химиком-лаборантом в школе, стала для Алексея той самой жизненной опорой, в которой он нуждался прежде всего. Она полностью освободила его от домашних забот, остужала его взрывной характер своим терпением и спокойствием, кротко сносила выбранный им образ жизни: работа, работа, работа без выходных и отпусков, работа днем и ночью... За десять лет, насколько мне известно, он вышел в кино с женой всего один-единственный раз.

Но и это теперь мне видится с разных точек зрения... а может быть, если бы супруга вовремя пресекла Лешкины застолья, жизнь его пошла бы по другому руслу? Как знать, как знать... не всем дано спокойное отношение к медным трубам славы.

А слава была — слава реальная, всамделишная. Звезда Егорова ярко блистала на отечественном небосклоне еще в семидесятых и помог этому восхождению, как водится, голубой экран: на Центральном телевидении решили снять документальный фильм о художнике-керамисте из Ярославля. Лешу вместе с его работами затребовали в Москву, на Шаболовку — а он пригласил меня съездить вместе с ним. Я нашел себе подмену на работе; в мастерской мы с Егоровым бережно упаковали в четыре матерчатые сумки десятка два-три керамических сосудов, ларцов, изразцов, небольших панно — и поехали. Добрались до Шаболовки, нашли режиссера с оператором, распаковали сумки... и тут я в который раз увидел, насколько сильно способно воздействовать на людей подлинное искусство.

— Какая красота! — то и дело восклицала отчего-то очень знакомая мне женщина в очках и простенькой вязаной кофточке. Она брала в руки то штоф, то муравленый изразец, любовалась, ставила на стол, брала другую егоровскую работу — и снова не могла удержаться от возгласа восхищения.

Наконец, я понял, где видел ее: это была популярная в то время ведущая первого канала Анна Шатилова. Как странно было видеть ее не уверенной и величавой, а восторгающейся — и даже, не побоюсь этого слова, какой-то робкой. А уж когда она взяла в руки роскошный медальон с изображением птицы Сирин, выполненный в технике «люстр», на лице знаменитой на всю страну телеведущей отразилось нечто большее, чем восхищение.

Алексей тоже заметил это — и тут же подарил женщине эту свою работу. Как же приятно было нам обоим, когда тем же вечером, сидя в гостях у режиссера будущего фильма, мы увидели на телеэкране Анну Шатилову, на груди которой красовался тот самый медальон. Он висел на тонком шнурочке, который операторы подобрали, как потом выяснилось, всего за час до передачи.

Уезжая из Москвы, Алексей сделал широкий жест — разрешил столичным киношникам взять все работы на память... и я, помнится, еле успел схватить свою плакету, которую он подарил мне еще месяц назад. А фильм о ярославском мастере Егорове и его творчестве вышел на голубой экран уже спустя неделю. Назывался он «Волшебник из Ярославля», за кадром звучал бархатный голос Анны Шатиловой.

Портрет моего друга будет неполным, если я не скажу здесь несколько слов о Егорове-книжнике, книголюбе. Он был страстным читателем — но не романов и стихотворных сборников, а книг об искусстве. Раз в месяц обязательно ездил в Москву и целый день отдавал походам по книжным магазинам, подолгу «шерстил» полки букинистических магазинов на Волхонке. Невзирая на цену, покупал все, что касалось византийской

мозаики, орнаментов раннего средневековья, пластику изучал по книгам о лепнине владимирских соборов XII века. Бывало, что какой-то фолиант оказывался ему и не по карману; тогда Леша — мне случалось это самому видеть — невозмутимо извлекал из кармана пиджака свой рабочий альбомчик, карандаш и тут же, у прилавка, набрасывал рисунок какой-то детали орнамента.

На книги уходила большая часть его зарплаты. Его комната в «двушке» была в буквальном смысле слова забита книгами, их были тысячи, штабеля их виднелись повсюду. И, что самое главное, они не простаивали, а работали — в каждой из них он делал какие-то пометки, делал из них выписки. Как, бывало, ни зайдешь к Алексею домой, застаешь привычную картину: хозяин сидит на полу с папиросой во рту и читает. Начинается беседа, заходит о чем-то спор — тут же в книжном своем развале Леша безошибочно находит нужный томик, открывает — и поражает оппонента навзничь точной цитатой.

Помнится, за одну из книг он отдал мне очень любимый им самим керамический сосуд его работы — тот, что и сейчас стоит у меня дома. Сосуд назывался «Полкан-лучник» — и на этого полкана у меня горел зуб многие годы. Но только однажды появилась реальная возможность заполучить этот сосуд — когда в моем распоряжении оказалась ретинальная книга 1929 года издания, существовавшая в единственном экземпляре. Книгу эту — а точнее, сотню переплетенных листов с выполненными гуашью копиями орнаментов фресок подмосковных, угличских, ростовских, переславских и ярославских соборов — произвел на свет известный иконописец конца XIX — начала XX века Великанов. Путешествуя по России, он копировал орнаменты на плотной бумаге размером 47x35 — а потом сделал из этих копий две книги. Намеревался издать, просил помощи у наркомата просвещения — но что-то не заладилось с публикацией. Одна из этих книг уже давным-давно «уехала» из Ярославля в Москву, а другую я приобрел по случаю у бывшего актера Волковского театра, а впоследствии директора художественного музея Владимира Митрофанова.

Трудно описать словами, что творилось с Егоровым, когда он взял в руки этот фолиант. Листал, бормотал что-то...и только через десяток-полтора минут смог вымолвить:

— Вот это книга...Что тебе нужно за нее?

Я без раздумий указал на полкана, а заодно и на штоф «Берендей», побывавший незадолго до этого на выставке в Париже. Алексей мгновенно снял обе работы с полки — и вручил мне. У него даже сомнений никаких не возникло относительно равноценности обмена. Ну, и я был доволен, естественно.

К сожалению, ни книги, ни семья не смогли уберечь Егорова от алкоголя: волшебник из Ярославля продолжал творить... и выпивать. Именно тогда и прозвучал в его жизни тревожный «звонок», который позже отозвался набатным ударом колокола.

...Как обычно, он задержался в тот день на работе: около одиннадцати вечера к нему зашел кто-то из бригады позолотчиков. Одна бутылка водки, вторая... пора уже и по домам. Он шел, пошатываясь, знакомой дорогой. Вот уже и Леонтьевское кладбище, вот Угличское шоссе...

Водитель легковой машины, которая сшибла его, успел все-таки сбавить скорость, удар оказался несильным. Но вышедшие из машины люди, увидев, что лежащий на дороге человек сильно пьян, решили добавить к удару бампером еще и удары ногами... сколько таких ударов он получил? сколько часов пролежал на сыром асфальте ?

Очнулся уже в коридоре Соловьевской больницы. Сильно болели ноги, а о глазах он тогда еще ничего не знал. Двух недель оказалось достаточно, чтобы освободиться от гипса и с палочкой придти домой. Но уже через неделю зрение резко ухудшилось.

Врачи настаивали на немедленной операции. Тогдашний министр культуры России Мелентьев, который часто бывал в Ярославле и следил за творчеством мастера, договорился с известным офтальмологом Федоровым, который и сделал в итоге эту

операцию. Но спустя три месяца Егорову вновь пришлось ехать в Москву — один глаз видел значительно хуже другого...

Постепенно жизнь Алексея вошла в привычную колею: работа, выставки... Но пить он, к сожалению, не прекратил.

Изделия Егорова в то время экспонировались на самых крупных выставках, хотя членом Союза художников он не был. Председателем ярославского отделения Союза художников был тогда известный в стране живописец Амир Мазитов, любивший Егорова за его простоту и независимость. Он не раз предлагал Алексею вступить в творческий союз, обещая взять всю необходимую при оформлении бумажную волокиту на себя. Леша, однако, отмалчивался — и однажды Мазитов пришел к нему домой, принеся с собой чистый бланк заявления о вступлении в союз. На столе мгновенно очутилась бутылка коньяка, пошел разговор о новых работах Егорова. Увидев их, Мазитов воскликнул: «И эти шедевры созданы не членом Союза! Какая несправедливость!»

— Небольшая потеря... — буркнул в ответ Егоров.

Вопрос о вступлении Алексея в Союз художников так и остался открытым: Егоров упорно не хотел придавать значения официозному признанию. Но коньяк, естественно, был допит.

Сиживали с Лешей за бутылочкой деятели и покрупнее. Помню, как-то зимой 1974 года я заскочил к нему в мастерские — и увидел рядом с ним незнакомого мне человека в дубленке рыжего цвета, опушенной белым каракулем. Шапки на незнакомце не было, из-под дубленки небрежно топорщился мохеровый шарф. Оба они с Алексеем сидели на табуретках, а на третьей табуретке возвышалась уже початая бутылка коньяка.

— Познакомься, это Мстислав Леопольдович Ростропович, — сказал мне Егоров.

— Миша Савицкий, — представился я, пожимая руку известному музыканту и дирижеру.

— Садитесь с нами, — как-то запросто предложил тот. — Мы вот тут с Алексеем Алексеевичем коньячок попиваем, пока обжиг идет.

Оказывается, в это время в муфеле обжигались штоф и дюжина изразцов-сувениров. Ростропович торопился, ему надо было ехать в Рыбинск, где был запланирован его концерт; но процесс обжига требовал, как минимум, часа. Мое появление спасло ситуацию: договорились, что я, проведя лекцию у своих студентов-вечерников, возвращаюсь в мастерские, забираю еще теплые штоф и сувениры — и увожу их домой, а музыкант после концерта заедет ко мне в Брагино и заберет егоровские изделия.

Обо всем договорившись, вернулись к коньяку. Ростропович оказался большим шутником. Мягко картавя, он убеждал хозяина мастерских:

— Алексей Алексеевич, да не называйте вы меня Мстиславом Леопольдовичем! Зовите меня просто Славой. Меня мои друзья, когда выпьем, вообще Мстиславом Леопардовичем зовут...

Раскаты его смеха наполняли мастерскую.

В моей брагинской квартире жили тогда всего два человека: я и мама; до моей свадьбы оставался месяц с небольшим. Было уже за полночь, когда к нашему подъезду подъехала черная «Волга» и я пошел открывать входную дверь. Мстислав Леопольдович, сняв дубленку, галантно представился маме и поцеловал ей руку. Я же начал выставлять на стол уже остывшие егоровские работы.

Большее всего Ростроповичу понравился штоф, но и копии древних изразцов он оценил по достоинству. Громко восхищался красотой сюжетов, удивлялся той гениальной простоте, с какой древний мастер переносил на глиняное изделие окружавшую его жизнь.

Мама согрела чайник, постелила на стол праздничную скатерть. Мстислав Леопольдович особо не упирался, охотно принял участие в чаепитии, ответил на многочисленные мамины вопросы. Ее больше всего интересовали его семейная жизнь, его дети. Оказалось, их у него двое, две девочки — и одна, вслед за ним, тоже связала свою судьбу с виолончелью.

В разговоре выяснилось, что Ростропович так много слышал прежде о таланте керамиста Егорова, что решил обязательно встретиться с ним вживую. Гастроли в Рыбинске оказались весьма кстати — и музыкант, приехав на ярославскую землю, тут же разыскал моего друга. Они, оказывается, уже дого ворились и о конкретном заказе: Леша пообещал выполнить керамический фриз на трехэтажной даче Мстислава Леопольдовича. Рассказав об этом, музыкант тут же записал мне телефонный номер своей московской квартиры и пригласил нас обоих, меня и Егорова, к себе н а дачу:

— Вы ведь оба художники, у вас глаз острый. Выберем подходящий вариант для фриза, посидим, потолкуем. Мишенька, вы уж не откажите в любезности, напоминайте Алексею о его обещании — человек он, я вижу, не простой...

Часы ударили два часа ночи — и мы расстались. А через неделю я с волнением позвонил по записанному номеру.

— Я слушаю, — сказал женский голос.

Это была знаменитая оперная певица, народная артистка СССР Галина Вишневская, женщина-миф. Волнуясь, я назвал себя «Савицким от Егорова», попрос ил к телефону Мстислава Леопольдовича. Оказалось, что тот на гастролях, но Галина Павловна знала о наших совместных планах и повторила приглашение Ростроповича.

Предвкушая новую интересную поездку, я начал строить планы, подыскивать себе подмену на работе... но до отъезда Ростроповича на Запад оставались уже считанные месяцы. Как ныне известно из воспоминаний Вишневской, около той самой дачи (где скрывался одно время Солженицын), КГБ установил в то время круглосуточное дежурство — настолько открытое, что Мстислав Леопольдович, проезжая мимо людей в черной «Волге», из озорства сигналил им, как старым знакомым. Он еще никуда не собирался уезжать, еще планировал украсить дачу егоровским фризом... но вот к Леше Егорову в мастерские именно в те дни зачем-то пожаловал чиновник ярославского управления культуры. Помнится, я как раз застал его приход: важный человек в костюме расхаживал, заложив руки за спину, по егоровскому бараку. Видно было, что какой-то разговор между мастером и этим человеком уже произошел.

Выждав, когда чиновник уйдет, я радостно сообщил другу о разговоре с Вишневской и о необходимости заказывать билеты. Каково же было мое удивление, когда Алексей спокойно ответил:

— Я не поеду.

Не подозревавший, что накануне член КПСС Егоров был вызван во всезн ающий «серый дом» как раз по поводу планировавшейся поездки, я ошеломленно закричал:

— Да как ты можешь! Такой человек обратился к тебе с просьбой — а ты!..

— Не поеду — и все, — бесстрастно повторил мой друг. Поняв, что дальнейшие разговоры бесполезны, я умолк. Так на заказе Ростроповича был поставлен крест.

На мою свадьбу Алексей не пришел. Но подарок сделал роскошный: большой сосуд из каменной массы в виде дядьки Черномора всем гостям бросался в глаза. Золотом горел текст: «Савицкому в день свадьбы».

...Все-таки из того происшествия на шоссе выводы он сделал: все реже находились и «повод», и «гонец», готовый бежать в магазин. Зато курить стал куда больше, двух пачек на день уже не хватало. А однажды травма вновь дала о себе знать: у Алексея стали отказывать ноги.

Он обратился за помощью к своему давнему другу, профессору Ключевскому — но диагноз тот поставил неутешительный.

— Бросить курить?— усмехнулся Егоров. — Ну уж нет! А жить... сколько уж проживу...

Операция предстояла сложная, но держался Егоров хо рошо, верил в удачный исход ее. Однако сердце художника не выдержало — ночью, накануне операции, оно остановилось. Было тогда Алексею всего шестьдесят два года. А в прошлом году ему исполнилось бы семьдесят пять.

До сих пор вспоминаются мне наши с ним совместные поездки в Песочное, где он когда-то учился и где работали заводскими художниками его бывшие однокашники. Ездили мы с ним и в Ростов Великий, и в Борисоглебский. Я привозил из этих поездок этюды, а он — композиции старых изразцов, которыми мог любоваться бесконечно. Так и стоит в ушах его голос:

— Ты только посмотри, Миш, какая пластика! Этот картуш...как он удачно размещен на плоскости, как органично переходит в другой элемент, а тот — в следующий...эти средневековые мастера были просто гениальны!

Некоторые его подарки до сих пор радуют глаз мне и моим домашним: вот изразцовый камин, вот штофы, панно, сувенирные скульптуры, плакеты... Сделанные уверенной рукой мастера, уже отошедшего в мир иной, они продолжают очаровывать и по сей день, еще раз подтверждая простую истину: подлинное искусство неподвластно времени.

Так вышло, что часть творческого наследия Алексея попало после его кончины в Манчестерский музей изящных искусств, где и экспонируется, насколько я знаю, до сего времени. А Ярославль? Помнит ли он о Егорове? Или с уходом в мир иной тех людей, что знали и любили его, уйдет и память о замечательном русском мастере?

Работы ярославского художника-керамиста Алексея Егорова
(из коллекции М. Савицкого)

А.А.Егоров.
Фото конца 50-х г.г.

1

2

4

5

3

6

7

1. Полкан-лучник. Сосуд. Каменная масса, люстр. 1974 г. 2. Прощание князя Игоря с Ярославной. Панно. Керамика, глазурь. 1969 г. 3. Сосуд «Черномор». Каменная масса, люстр. 1973 г. 4. Ваза. Каменная масса, люстр. 1975 г. 5. Штоф «Берендей». Каменная масса, люстр. 1968 г. 6. Облицовка камина. Поливная керамика. 60-е гг. XX века. 7. Ларец «К 20-летию полета в космос В.В.Терешковой». Керамика, глазурь. 1983 г.

Алексей Бокарев

Над великой рекой постою...

Интертекст Серебряного века в поэзии Бориса Рыжего

Былая школьница, по плану —
У нас развод, да будет так.
Прости былому хулигану —
Что там? — поэзию и мрак.

Иной любитель отечественной поэзии, прочитав эти строки Бориса Рыжего, снисходительно усмехнется и тут же процитирует Блока:

Ты, знающая дальней цели
Путеводительный маяк,
Простишь ли мне мои метели,
Мой бред, поэзию и мрак?

Так, — со снисходительной усмешкой, как на явный плагиат — смотрит любитель, — но профессиональному филологу совершенно ясно, что в данном случае мы имеем дело явно не с «плагиатом», не с «заимствованием» и даже не с «аберрацией памяти» — перед нами классический случай интертекстуальной отсылки. И дело даже не в том, что было бы глупостью упрекнуть в чем-либо похожем на плагиат феноменально начитанного Бориса Рыжего, который ко времени написания этого своего стихотворения (1999) уже успел получить признание читающей публики как поэт вполне самостоятельный, со своей темой и узнаваемой интонацией, — дело в том, что подобными отсылками полна вся отечественная поэзия и, шире — всё пространство мировой культуры.

Понятие интертекста возникло исторически не так давно. В отечественной культурологии роль первооткрывателя самой идеи диалогичности каждого явления культуры принадлежит, безусловно, Михаилу Бахтину, заявлявшему, что эстетическая деятельность не создает сплошь новой действительности, а лишь «воспевает, украшает, воспоминает» преднаходимую действительность познания и поступка. Переосмыслившая одну из работ

Алексей Сергеевич Бокарев родился в 1986 году в г.Рыбинске. В 2004 году, окончив лицей, поступил на филологический факультет Ярославского государственного педагогического университета им. К.Ушинского, где и учится в настоящее время.

Литературным творчеством увлекся в школьные годы. Публиковал стихи в областной периодике. В 2005 году опубликовал в нашем журнале и журнале «День и ночь», издающемся в Красноярске, подборки стихотворений. Участник Пятого форума молодых писателей в Липках (2005 г.).

Живет в Ярославле.

© Алексей Бокарев, 2006.

М.Бахтина 1924 года французская исследовательница Юлия Кристева ввела в 1967 году термин «интертекст» в литературный оборот, а теоретики структурализма и постмодернизма Р. Барт, Ж. Деррида, М.Фуко, А.Ж. Греймас и другие впоследствии значительно расширили понятие интертекстуальности, рассматривая как интертекст не только литературу и культуру, но и историю, и самого человека. Вся культура стала восприниматься в итоге как единый текст, служащий «как бы подтекстом любого вновь появившегося текста».

В литературных произведениях однако, интертекстуальность предстает не столь размыто — она проявляет себя в конкретных цитатах, реминисценциях, аллюзиях, проступает в пастишах и палимпсестах. Иной раз позиционировать то или иное явление как образец интертекстуальности бывает довольно сложно — для этого нужно обладать не только общекультурными познаниями, но и определенной интуицией, однако, в случае с поэзией Бориса Рыжего всё проще. Поэт классического плана, тесно связанный с отечественной традицией, он никогда не скрывал этой связи. Современные исследователи его творчества отмечают богатейшую генеалогию стихов Рыжего, называя при этом десятки имен, составляющих гордость русской поэзии — начиная с Державина, Батюшкова, Дениса Давыдова, Пушкина, Лермонтова, Полежаева, Фофанова...Мне же в этих заметках хочется обратить внимание читателя на дискурс серебряного века, занимающий в поэтологической парадигме Бориса Рыжего совершенно особое место — именно с произведений поэтов этого краткого, но блистательного периода русской литературы юный екатеринбуржец начал в свое время, по свидетельству хорошо знавших его людей, знакомство с русской поэзией вообще.

Приходится иногда встречать утверждение, что Рыжий, испытывавший на протяжении всего своего поэтического пути сильнейшее влияние именно этого пласта русской художественной словесности — и знавший об этом сам, «сознательно избегал в своем творчестве каких-либо соответствий, аналогий с поэтикой серебряного века». Я полагаю, что это натяжка, — но даже если это и верно, нужно констатировать, что в этом своем стремлении поэт явно не преуспел: в его стихотворном наследии масса прямых перекличек с поэтами той поры — перекличек с их строками, их настроениями, мыслями, чувствами. Естественно, в большинстве случаев Рыжий заимствовал не элементы дискурса, а общую тональность, пафос — музыку (по Юрию Казарину) этих стихов. Однако велико и количество прямых интертекстуальных отсылок. С одной из них начинаются эти заметки — и начинаются не случайно: из поэтов серебряного века именно Блок был особенно любим Рыжим, именно ему — петербуржцу — посвящены многие стихи уральца.

Александр Блок часто фигурирует в стихах Рыжего непосредственно — как некий герой. Знакомясь, к примеру, со стихотворением «Дым из красных труб...», читатель с первых же строк понимает, что речь идет именно о Блоке:

Грустно без Л.Д.,
что теперь на море.
Лодка на воде,
и звезда во взоре.

Но зато Л.А. —
роковая дама,
и вполне мила,
как сказала мама.

А в последней строфе автор и сам называет имя своего героя, окончательно снимая все вопросы:

И красив как бог
на краю могилы
Александр Блок —
умный, честный, милый.

В стихотворении «Хочется позвонить...» лирический герой ищет собеседни ка, но не среди окружающих его людей, а среди поэтов-классиков. Перебирая «номера», он останавливается на одном:

Впрочем, есть номерок,
не дозвонюсь, но все же
только один звонок:
«Я умираю тоже,
здравствуй, товарищ Блок...»

Так ситуация поэтического контакта, чтения одного поэта — другим обытовляется до простого телефонного звонка: настолько естественным был для Рыжего его «диалог».

Читатель помнит, что большой раздел Третьей книги Блока, концептуальный для его творчества 10-20-х гг., назывался «Страшный мир». Этот раздел был, судя по всему, очень любим Рыжим — не зря само словосочетание всплывает в его стихах:

Слишком холодно — а я как будто голый,
как во сне кошмарном, нет — как в страшном мире.

Именно из этого раздела перекочевали в стихи екатеринбуржца «поэзия и мрак», пришли и наполнились живой кровью нового времени многие образы и лексемы. К блоковским стихотворениям «В ресторане» и «Из хрустального тумана...» восходят сразу несколько произведений Рыжего. Вот пара цитат:

Нашарив побольше купюру в кармане,
вставал из-за столика кто-то, и сразу
скрипач полупьяный в ночном ресторане
пространству огранку давал, как алмазу,
и бабочка с воротничка улетала,
под музыку эту металась, кружилась,
садилась на сердце мое и сгорала,
и жизнь на минуту одну становилась
похожей на чудо — от водки и скрипки —
для пьяниц приезжих и шушеры местной...
<...>
но я целовал только влажные щеки,
сжимал только бедные, хрупкие плечи.
(«В ресторане», 1996)

...В баре «Трибунал»,
в окруженьи швали,
я тебе кричал
о своей печали <...>

Как в предсмертный час,
музыка гремела,
оглушала нас,

лязгала и пела... <...>

(«Бар «Трибунал», 1996)

Одно из стихотворений 1997 года начинается с катрена, целиком написанно го Блоком. Лирический герой петербуржца разочаровывается сначала в возлюбленной, а затем и в жизни вообще.

Ночь — как ночь, и улица пустынна
так всегда!
Для кого же ты была невинна
и горда?

Интересно, что эта цитата у Рыжего не выделяется графичес ки: автор как будто несознательно начинает свое стихотворен ие словами Блока, а потом — опомнившись — продолжает уже своими. И очень показательно, что трагизм, заложенный в процитированном стихотворении Блока, в стихотворении Рыжего снимается: на смену страшным блоковским выводам «Счастья нет», «Все умрут» приходит совершенно иное видение мира:

Фабрики. Дымящиеся трубы.
Облака.
Вот и я, твои целую губы:
ну, пока.
Вот иду вдоль черного забора,
набекрень
кепочку надев, походкой вора,
прячась в тень.
Как и все хорошие поэты
в двадцать два,
я влюблен — и, вероятно, это
не слова.

В данном случае герой Рыжего любит «по-пушкински»: никакое разочарование не способно омрачить его чувства. Абстрактная картина блоковского ночного города заменяется конкретными реалиями современного российского индустриального центра, с внутреннего мира лирического героя акцент перемещается на мир внешний — и сам герой, набекрень надевающий свою кепку, вполне органично в этот мир вписывается. Это — мир екатеринбуржца Бориса Рыжего, его интонация, — но найти ее поэт смог не иначе, как оттолкнувшись от строк своего великого собрата по перу.

Влияние творчества другого поэта серебряного века — Георгия Иванова — на поэзию Рыжего можно определить как в большей степени пафосное, интонационное. Однако, аллюзии и реминисценции, хотя и не всегда очевидные, наличествуют и здесь. Прочтем стихотворение Г.Иванова из книги «Отплытие на остров Цитеру»:

Черная кровь из открытых жил,
И ангел, как птица, крылья сложил...

Это было на слабом, весеннем льду
В девятьсот двадцатом году.

Дай мне руку, иначе я упаду —
Так скользко на этом льду.

Над широкой Невой догорал закат.
Цепенели дворцы, чернели мосты —
Это было тысячу лет назад,
Так давно, что забыла ты.

А теперь посмотрим на текст Бориса Рыжего:

1
Важно украшен мой школьный альбом
молотом тяжким и острым серпом.

Спрячь его, друг, не показывай мне,
снова я вижу как будто во сне:

восьмидесятый, весь в лозунгах, год
с грозным лицом олимпийца встает.

Маленький, сонный, по черному льду
в школу вот-вот упаду, но иду.
2
<...>
Всё, что я знаю, я понял тогда —
нет никого, ничего, никогда.

Где бы я ни был — на чёрном ветру
в чёрном снегу упаду и умру.
3
<...>
4
<...>
Будет завод надо мною гудеть.
Будет звезда надо мною гореть.

Ржавая, в чёрных прожилках, звезда.
И — никого. Ничего. Никогда.
(«Соцреализм», 1995)

В каждом из этих стихотворений есть указание на временной (и историче ский) пласт, эмоциональным откликом на который — в широком смысле — и является каждое произведение. У Иванова — это год исхода эмиграции из России, у Рыжего — последнее десятилетие Советской империи, время «застоя». Примечательно, что оба автора помещают своего лирического героя на лёд — этой лексемой актуализируются сразу два плана, материальный (вещественный) и символический (лёд здесь символизирует непостоянство, хрупкость человеческой жизни). Совмещение в рамках одного стихотворения сразу двух планов — одна из характернейших черт лирики Г.Иванова. Б.Рыжий перенес в свою поэзию не только это ее свойство, но и сам метод романтического двоемирия, имманентно присущий поэтической системе Г.Иванова: как справедливо отмечал А.Машевский, в поэзии рано ушедшего и з жизни «последнего советского поэта» сосуществуют два плана: «некий туманный идеальный план детских надежд, настоящей дружбы, святой любви — и сугубо реальный план убогого, опасного существования в полууголовной среде».

Явным палимпсестом известного стихотворения еще одного классика серебряного века — Иннокентия Анненского — является стихотворение Рыжего «Девочка с куклой» (1995). Напомним читателю сюжет, взятый поэтом серебряного века в стихотворении «Старые эстонки»: лирический герой в который раз видит во сне старых эстонок, безмолвно укоряющих его самим своим появлением — и терзается:

Иль от ветру глаза ваши пухлы,
Точно почки берез на могилах...
Вы молчите, печальные куклы,
Сыновей ваших... я ж не казнил их...

Я, напротив, я очень жалел их,
Прочитав в сердобольных газетах,
Про себя я молился за смелых,
И священник был в ярких глазетах.

Но совесть лирического героя, персонифицированная в образах безмолвных старух, не утихает:

Затрясли головами эстонки.
«Ты жалел их...На что ж твоя жалость,
Если пальцы руки твоей тонки
И ни разу она не сжималась?

Спите крепко, палач с палачихой!
Улыбайтесь друг другу любовней!
Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихий,
В целом мире тебя нет виновней!

Напомним, что проблема совести — одна из основных в творчестве Анненского, этот «мучительный вопрос» звучит во многих его произведениях. Главная вина его лирического героя — бездействие, неспособность реально помочь чужой трагедии. Почти столетие спустя тот же мучительный вопрос терзает и героя Бориса Рыжего:

С мертвой куколкой мертвый ребенок
на кровать мою ночью садится.
За окном моим белый осколок
норовит оборваться, разбиться.

«Кто ты, мальчик?» — «Я девочка, дядя.
Погляди, я как куколка стала...»
«Ах, чего тебе, девочка, надо,
своего, что ли, горя мне мало?»

«Где ты был, когда нас убивали?
Самолеты над нами кружились...»
«Я писал. И печатал в журнале.
Чтобы люди добрей становились...»

Искривляются синие губки,
и летит в меня мертвая кукла.
Просыпаюсь — обидно и жутко.
За окном моим лунно и тускло.

Нет на свете гуманнее ада,
ничего нет банальней и проще.
Есть места, где от детского сада
пять шагов до кладбищенской рощи.

«Так лежи в своей теплой могиле —
без тебя мне находятся судьи...»
Боже мой, а меня не убили
на войне вашей, милые люди?

Как и герой Анненского, герой Рыжего оказывается в положении обвиняемого, как и герой Анненского, пытается оправдаться перед своей совестью — и не может. Эта попытка оправдать себя за то, в чем не винОват, за преступления, которых не совершал, явлена и в другом стихотворении Рыжего, тематически и ситуативно восходящем к тем же «Старым эстонкам», строка из которых взята современным поэтом в качестве эпиграфа:

Про себя я молился за смелых...

Здесь мы уже имеем дело с аллюзией в чистом виде:

Но мне, Господь, мне нечего сказать -
твой лик одних младенцев устрашил.
Отсутствием твоим мне оправдать
легко тебя. Но как себя, скажи,
мне оправдать? Ведь мне не страшен ад —
я ад прошел. Что ж выбрать мне из двух
зол — гордый, как войду я в райский сад,
где души тех младенцев, тех старух?

Не лишним будет заметить, что Анненский влиял на Рыжего не только на уровне содержания, но и в значительной мере на уровне формы. Примером служит одно из стихотворений екатеринбуржца, также являющееся, на наш взгляд, аллюзией на известный сонет Аненнского «Перебой ритма» (из «Трилистника шуточного»). Напомню читателю этот сонет:

Как ни гулок, ни живуч — Ям —
— б, утомлен он и затих
Средь мерцаний золотых,
Уступив иным созвучьям.

То-то вдруг по голым сучьям
Прозу утра, град шутих,
На листы веленьем щучьим
За стихом поскачет стих.

Узнаю вас, близкий рампе,
Друг крылатый эпиграмм, Пэ —
— она третьего размер.

Вы играли уж при мер —
— цаньи утра бледной лампе
Танцы нежные Химер.

А теперь прочтем следующее стихотворение Рыжего:

Жизнь — суть поэзия, а смерть — сплошная проза.
...Предельно траурна братва у труповоза.
Пол-облака висит над головами. Гроб
вытаскивают — блеск — и восстановлен лоб,
что в офисе ему разбили арматурой.
Стою, взволнованный пеоном и цезурой!

С чисто формальной стороны, перед нами — шестистопный ямб с множеством пиррихиев и спондеев, что делает стихотворение чрезвычайно неэвфоничным, — Но, как вполне справедливо отмечал И. Шайтанов, если прочесть первую строку как пеон четвертый, все встанет на свои места: мы получим совпадение метрического и смыслового ударений, которые приходятся на слова «поэзия — смерть — проза». Вторая строка укладывается в пеон четвертый вообще без всяких натяжек; в третьей и четвертой сохраняется инерция четырехстопности, читать пятую строку как пеон четвертый уже невозможно, зато как пеон второй — вполне. В двух заключительных строках происходит возвращение к пеону четвертому.

В русской поэзии пеон — как явление самостоятельное — встречается не часто, круг текстов-доноров для современного поэта изначально сужен. Само упоминание пеона Рыжим является своеобразным маркером, отсылающим читателя к денотату аллюзии — шуточному сонету классика серебряного века. Но аллюзия здесь проявляется и на содержательном уровне: оба поэта в конце стихотворения обращают внимание читателя на формальный признак — размер своего произведения, смещая акцент с происходящего на написанное.

В письме Елене Ушаковой Б.Рыжий так писал об Аненнском: «Удивительный поэт. Я так его люблю и знаю — странно, что он не влияет на меня». С этим утверждением поэта можно и должно поспорить — та же Ушакова считает, что «как раз от Аненнского Боре «перепало» : музыкальность его стихов связана с этим поэтом». Впрочем, для мировой литературы не редкость, когда формальные постулаты автора опровергаются его собственным творчеством. Своеобразным итогом, подтверждением непреложного факта влияния текста серебряного века на поэзию Рыжего — и факта осознания самим поэтом этого влияния (в первую очередь, влияния трех поэтов, о которых шла речь выше) — может служить стихотворение екатеринбуржца , начинающееся первой строкой известного стихотворения Анненского «Дымы» :

«В белом поле был пепельный бал...» —
вслух читал, у гостей напиваясь,
перед сном как молитву шептал,
а теперь и не вспомнить, признаюсь.

Над великой рекой постою,
где алеет закат, догорая.
Вы вошли слишком просто в мою
жизнь — играючи и умирая.

Навязали свои дневники,
письма, комплексы, ветви сирени.
За моею спиной у реки
вы толпитесь, печальные тени.

Уходите, вы слышите гул —

вроде грохота, грома, раската.
Может быть, и меня полоснул
тонким лезвием лучик заката.

Не один еще юный кретин
вам доверит грошовое горе.
Вот и всё, я побуду один,
Александр, Иннокентий, Георгий.